

Олеся Николаева

**Апология человека
Избранные стихи**

По благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина

© Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2004.

Содержание

Предисловие

Августин

Богатый юноша

«Невидимая брань»

На правах погорельца

Апология человека

Предисловие

У христианской поэзии множество трудностей. Как ей остаться искусством и не пожертвовать своим идеализмом, своим пафосом? Как ей произносить свое исповедание веры и при этом сохранить ту недоговоренность и тайну, без которых и лирика-то не существует? Мы, читатели, являемся свидетелями уже многих неудач на этом пути. Я не говорю сейчас о второсортных литературных поделках, но ведь существует достаточно широко распространившаяся так называемая «литература добрых намерений», или, как именовал ее Пушкин, «приходская литература» – не претендующая на художественную ценность, стремящаяся к поучительности и доходчивости, к тому, чтобы вразумить или растрогать. Слов нет, подобные книжки нужны – самый, как принято говорить, «элитарный» читатель многим им обязан – зачастую его жизнь в Церкви начиналась именно с них. Но вот поэзия, искусство в точном смысле этого слова?.. Могут ли они «вместить» содержание, которое больше их? Может ли выдержать художественная форма этот внутренний напор огромной – больше всего мира – идеи?

Мне потому и по сердцу поэзия Олеси Николаевой – она вся в борьбе, в усилении, в труде. И автор, почти постоянно (во всяком случае, в самых сильных своих текстах) на наших глазах стремящийся преодолеть себя, – ослабевающий, падающий, негодующий на свою слабость; и стихи, как будто желающие стать чем-то другим, нежели то, что они есть (прозой, даже проповедью!), – и все же остающиеся стихами. О внутренней энергии, то убывающей, то возрастающей, говорят даже метры и ритмы поэзии Николаевой – эта непривычно длинная, с изломом цезуры, как с необходимым вздохом после предпринятого усилия, грузная строка, словно тоже что-то преодолевающая, поднимающая тяжесть:

*Вы, лживые мои речи, кичащиеся высотой смысла, любящие суетные разговоры,
вы, чувства мои испорченные, любви убожавшиеся, душегубы, воры!*

Вы, древяне, будете перебиты, похоронены заживо, выжжены, подобно заразе...

...Богомудрая Ольга берется за дело, хороня любимого князя.

Эта тяжесть собственного «я», да еще творческого, то есть наделенного всей силой самопознания! Как трудно творческому человеку с самим собой! Поэзия Олеси Николаевой главным образом ведь именно об этом и говорит, это ее центральная, стержневая тема. Что же (или кто же) поможет поэту? Ведь его постоянно подстерегает опасность в миллионный раз пойти по пути, давно исхоженному мировым искусством, погрузиться в свою

неисчерпаемую внутреннюю сложность, предпочесть себя, свои страдания, душевные противоречия и внутренние богатства всему, что его окружает, – одним словом, предпочесть себя всему миру. И какие великие имена встретим мы на этом пути!

Я ни с кем не собираюсь сравнивать Олеся Николаева, скажу только: от подобного романтического одиночества и противостояния всему на свете спасает именно то, что и делает ее поэзию религиозной, – любовь. Быть может, отчетливей и сильнее всего запечатлеваются в памяти героини ее «сюжетных» вещей, поэтических новелл: соседка Марья Сергеевна, грубая и некрасивая, запомнившаяся с детства, потому что первая заговорила с ребенком о Боге; слабоумный мальчик Петя – о таких, как он, чудно говорил Андерсен: это слабые растения, которые расцветут в Божьем саду; убогий Сережа из «ремеслухи»; тетя Алла с ее нелепой жизнью, с «грошовой тризной», которую по ней справляют. И авторское чувство к подобным героям так сильно, так скорбно и, добавлю, так *трудно* – ведь причиняет же оно какую-то боль читателю, пусть мимолетную! А как иначе, *обезболенно*, прочесть, например, следующее:

*Знаешь, папа! Когда умирает отец, лишь равнина
остаётся в заступниках и конфидентах. Всю ночь
утешает меня, одаряя, как блудного сына...*

Укоряет, как блудную дочь.

Но этот результат, которого достигает Олеся Николаева, *теребя* и *мучая* своего читателя, – не единственный. Известно, что сюжетность противопоказана лирике (один очень большой поэт говорил даже, что это – два разнородных начала, соединение которых приносит отвратительные плоды. Правда, он сам в конце своей жизни стал писать именно сюжетные вещи – едва ли не наиболее сильное из всего им созданного). Олеся Николаева с напором, с энергией, бесстрашно делает прививку сюжета к лирическому стволу. И что же? Результаты налицо:

*В галантерейную роскошь даров промтоварных
нас одевала она – некрасивых, бездарных,
бездерзновенных, смотрящих темно и устало,
словно на праздник готовила нас, выпускала,
словно на пир, где нельзя быть иначе одетым,
чем в эту радость нарядную – с небом и светом!..
Может, в Твоих мастерских белошвейных небесных
много есть белых хитонов, нарядов воскресных,
много целебных покровов, спасительных нитей
есть для нее среди высоких Твоих общежитий!*

Книга начинается небольшой поэмой «Августин» и заканчивается то ли философской поэмой в прозе, то ли лирическим трактатом «Апология человека» – произведениями, которые ясно показывают, как решительно Олеся Николаева подходит к самым границам возможного, привычного в лирике. Ход повествования в «Августине» – сложный, двуслойный, разом вводящий читателя и в историю тайного монашеского жития в горах Кавказа, и в историю юного бродяжки, жулика, присвоившего чужое имя. Сложность увеличивается за счет того, что повествование прерывается, словно делясь на доли: в него вторгается неведомый голос, самый авторитетный для автора, голос того, «кто поручил мне Августина». Эти вторжения задают всему рассказу не только особенный ритм, но и глубину и высоту: ведь неизвестный собеседник постоянно говорит о том важнейшем, что соединяет людей, делает не чужими друг другу и Августина, и кавказских отшельников, и автора, и вообще – всех и вся. Та же нота слышна в «Апологии человека» (благодаря этому складывается своего рода рамочная композиция сборника). Казалось бы, антропологическое рассуждение, построенное (как и подобает трактату) тезисно, исследующее доказательно и логически всю внутреннюю структуру человека, все противоречия личности и ее отклонения от первоначального Замысла о ней. Но вместе с тем, это – и самая горячая исповедь, рассказ о себе и о других, о том, что всех нас объединяет в Адаме, делает родными.

Я бы сказала так: борясь с материалом, отвергая отработанное и общепринятое, Олеся Николаева поступает так же, как поступает с самой собой, со своей натурой, характером, на которые негодует, кривизны которых обличает, к которым даже *применяет силу*. Как тут не увидеть общность, сходство между искусством и действительностью? Ни поэзия (если только это настоящая поэзия), ни жизнь христианская не терпят механистичности, штампованных повторов, заученных приемов. И здесь, и там должен быть риск выбора и ответственности, самовоспитания и – если надо – самоотказа:

*Я – богатый юноша, и мне жалко
расставаться с сабелькой из Эфеса,
и с камзолом бархатным с алой лентой,
и с пером на шляпе, и с крепким перстнем...
С этой гордой складкой у губ, с повадкой
молодого рыцаря, и с посадкой
верховой, с пружинистой походкой,
с подбородком, выплывшим легкой лодкой.*

Уже в такой четкости формулировок – бескомпромиссность взгляда на себя самое, залог дальнейшей борьбы с собой.

Впрочем, такая брань, такие проявления сильного (и поэтического, и человеческого) характера не потрясают и не разрушают общих контуров мира, возникающих в ее книге, – ведь у этого мира есть Центр и Источник. Поэтому все тут, кроме бьющегося над собой человека, – скорбящего, страдающего, переменчивого, обидимого и обижающего, – устойчиво, добротнo, прекрасно. А если посмотреть и на человека глазами любви – то все вообще соберется в изумительную картину, о которой иначе не скажешь, как «все добро зело»!

Недаром ведь и сборник называется не как-нибудь, а «Апология человека».

Елена Степанян

Августин

Роман в стихах

*– ...А волосы у меня были, – продолжал он, отхлебывая чай из блюда, –
вот до сих... –*

И он бил себя по пояснице.

*– Однажды, когда я оступился и летел в пропасть,
они зацепились, запутавшись, за колючку.*

Так я и выбрался невредимым.

...В восемь лет он был увезен матерью в горы,
где пострижен в мантию с именем Августин
отшельником-старцем.

После смерти матери и блаженного старца
спустился возле Сухуми.

На деньги тайных монашек, живших при церкви,
приехал в Лавру.

Там его не приняли без документов.

Он подался в Печоры.

Ему сказали: если бы у него был паспорт,
его бы взяли на послушанье,
а так – и нечего думать.

*– Если они займутся выяснением, кто я,
они потребуют показать, где жил я:
вызовут свидетелей, заведут дело...*

*А это значит – показать им тропы,
указать Верхнюю и Нижнюю Пустынь,
выдать старцев.
Многие там живут без паспорта, нелегально, –
власти дорого бы заплатили,
чтоб до них добраться.*

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждое действие
определяется не точкой его приложенья,
а тем, во имя чего оно совершалось.**

– А если сказать – жил отшельником,
никого там нету,
ничего не видел и – в полную несознанку?..

У меня сидел врач-психиатр –
друг моего детства,
писатель-детективист с юридическим образованием
и отец Антоний – священник из Подмосковья.

– Тогда его пребывание в психбольнице
затянется на неопределенное время:
на нем будут защищать диссертации,
делать карьеры;
целые отделы за него будут получать зарплату.
Материал-то какой богатый,
какой чистый случай:
человек, выросший вне цивилизации,
маугли по-советски!

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: доброе дело
определяется не его содержанием,
а свидетельством славы Божьей.**

*– Были у нас улейки – тридцать штук,
две коровки – они там маленькие, почти как козы,
были яблони, груши, смоковница, кукуруза.
Были грядки с морковкой...
От грызунов и от хищных птиц
их охраняли кошки.
А вот с греками, которые считали себя
хозяевами этой земли, не было сладу:
они то и дело захаживали за оброком
и очень жестоко нас обирали,
иногда – подчистую.*

С документами была неразрешимая сложность.
Августину было уже двадцать лет, и ему грозило:
а) статья за нарушение паспортного режима;
б) статья за уклонение от воинской службы;

в) статья за бродяжничество.

К тому же:

– Его будут прокручивать по каждому
нераскрытому уголовному делу,
имевшему место на всем Кавказе,
а для местных властей соблазнительно освободиться
кое от каких нерасследованных преступлений.
Горы – такой случай: ни алиби, ни свидетельств,
каждый подозрителен, каждый берет на мушку.
К тому же у юноши, кажется, нет родни,–
предположительно, что не будет ходатайств и апелляций.

*– А в дереве – там каждый бук в шестнадцать обхватов –
была выдолблена у меня келья,
по примеру первых горных монахов.
Что я делал зимой? Ну, во-первых, катал свечи.
Во-вторых, варил ладан, глядел на небо.
Благовонный дым долго лежал в ущельях.
Мой духовный отец – новоафонский старец,–
когда монастырь его разогнали,
долго шел через горы –
больше двухсот километров,
и так несколько раз,
пока не перенес в эту Пустынь
архиерейское золотое кадило,
Евангелие в драгоценной ризе,
Богослужебные книги,
кресты, мощевик, иконы.
Там он построил небольшую часовню,
в которой мы и молились.*

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: только личный подвиг
определяет духовность жизни.**

– К тому же, если он сдастся на милость властей,
его тут же
приведут к военной присяге,
а ему как монаху,
по Постановлению одного из Соборов,–
не помню, простите, какого –
держат оружие запрещается,–
так как быть с этим?

*– А осенью начинались ливни.
Они шли с вечера до утра и с утра до ночи,
и, казалось, ничего не высохнет там вовеки –
все к земле прильется, втопчется в землю.
Ближе к зиме монахи из Верхней Пустыни
чуть-чуть спускались
и оказывались около Нижней Пустыни – совсем близко.
Иногда мы ходили к ним –*

особенно, если что-нибудь нужно:

соль, спички...

Там был один такой замечательный – отец Авель.

Им же оттуда было удобней спустаться к Сухумской церкви.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: только по чистоте жизни
можно судить об истинности чудотворца.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинное чудотворение
всегда сопровождается покаянным чувством.**

– Где ты взяла такого? –

спрашивал писатель-детективист, не скрывая восторга.

– Что ты с ним будешь делать? –

спрашивал врач-психиатр довольно мрачно.

– Ну что, кажется, не очень дикий, –

улыбался отец Антоний, как всегда благодушно.

*– По ночам, случалось, выли шакалы,
и медведи бродили по горным тропам,
и особенно чудно светлячки мелькали,
туда-сюда летая перед глазами.*

*Ну и конечно – цикады, конечно – птицы:
соловей, пока он семьей не обзаводился.*

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: а при всем при этом
не за наши подвиги и молитвы,
не за наши добрые дела и жертвы –
лишь по Божественной милости,
по любви Его крестной
нам открываются врата Царства.**

Наконец, все решили: для спасения Августина
необходим покровитель,
который бы проследил, как движется дело,
и, возможно, своими связями бы добился,
чтобы все прошло безболезненно, мирно, гладко,
чтобы дали паспорт молодому монаху,
освободили от военной службы,
позволили бы работать при монастыре или церкви,
возносить пустынноческие молитвы
о земле православной Российской,
о властях и воинстве ее огромном,
и он, избежав допросов, благодарил бы Бога.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: человек может сломаться
под тяжестью слишком рано исполненного желанья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: любого новоначального,**

**пытающегося забраться в небо,
надо схватить за ноги и сдернуть на землю.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: даже прокаженный,
подходя к Господу, просил:
«Если хочешь, Господи, можешь меня очистить!»**

*– А причащаться мы ходили в Сухумскую церковь.
Ну а так – вечерние, утренние молитвы,
монашеское правило: три канона,
акафист, кафизмы, Евангелие, Апостол.
И конечно – Иисусова молитва.
И вообще – подвиг молчанья.*

Засыпая, я думала – как же ты все-таки, жизнь,
удивительна, баснословна,
все в тебе перемешано, все три дороги,
никаких указателей – направо, налево, прямо.
Еще вчера, считай, я грела глупое тело на камнях Сухуми,
а может, завтра взберусь на какую-то там вершину,
и тяжелый клубок надену,
и завернусь в трудную рясу.

*– Так вот, – продолжал Августин, устраиваясь поудобней, –
этот отец Авель сидел дважды:
первый раз за то, что крестил в Черном море
пионерский лагерь;
второй – за царицу Тамару.
Какой-то полковник в его присутствии
обозвал ее нецензурным словом,
а Отец Авель был крепкий, сильный, под два метра ростом.
Пришлось полковнику извиниться,
отцу Авелю же – прогуляться
по сибирским просторам.*

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: лучше прогневить человека,
чем прогневать Бога.**

Назавтра Знаменитый Писатель,
выбранный в покровители,
защитник, неожиданная надежда,
уезжал в Гватемалу, потом – в Гонолулу и еще куда-то.
Сегодня у него был единственный вечер, да и тот был занят:
он задавал ужин в Дубовом зале
в честь классика английской литературы.

– Ты хоть знаешь, что он написал? –
спрашивал Знаменитый Писатель, ведя меня лабиринтами к ресторану.

– Кажется, «Алые паруса», – отвечала я, смеясь собственному остроумью,
ибо чувствовала, что все началось отлично.

Каждый вечер до самой глубокой ночи
мы с Августином разжигали кадило,
ходили по комнатам, распевая молитвы,
и я больше всего боялась сфальшивить,
но в конце концов вдохновение побеждало.
В доме уже все спали:
чиновники и поэты, лауреаты и кандидаты,
якобинцы и гугеноты,
и кадильный дым окутывал их сновиденья –
хронику века, программу «Время», акции, баталии и реформы,
семейные неурядицы, мировые войны,
общественные нарузки, неприятности на работе.

– Мы немножко посидим на банкете, – сказал Знаменитый Писатель, –
а потом поговорим по твоему делу. –
И я так загадочно ему кивнула,
что он не выдержал и спросил почти сразу:
– Ну, вкратце, что у тебя такое?

– Августин, – говорила я, – дай-ка скуфью примерить,
ну, как – идет мне?
А теперь еще, пожалуйста, и мантию с рясой. –
Я вертелась перед зеркалом то так, то этак.
В конце концов я выпросила у него и клобук.
– Настоящая матушка, – отвечивал он монашеские комплименты.

– А почему ты никогда не встречалась со мной бескорыстно? –
спрашивал Знаменитый Писатель. –
Почему никогда не задавала вопроса –
что это я бегаю от депрессии по утрам
в тренировочных шароварах?
Слушай, зачем это все тебе –
какие-то, извини, попы, монахи?

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: можно и в миру вести монашеский образ жизни:
необязательно облачаться во вретисце, давать обеты.
Тот, кто поручил мне Августина,
очень меня ругал за мои ночные примерки.**

– Получается, – настоятельно повторяла я, –
либо предательство старцев,
либо психушка по всем статьям,
либо тюрьма со штрафбатом.
– М-да, – тянул Знаменитый Писатель, –
зачем это все тебе – тюрьма, психушка?

А классик английской литературы,
о котором временно все забыли,
делал вид, что ему и так очень приятно:
вот – поэты разговорились, разгорячились,

у них ведь столько проблем – ускорение, перестройка...

– А подложный паспорт? – спросила я.
И тут же немного скривила рот, как в шпионском фильме.
– Подложный паспорт? – спросил Знаменитый Писатель
тоном заправского революционера
на конспиративной квартире где-нибудь в Женеве.
– Ну да, – небрежно кинула я,
как сотрудница ЦРУ в Московском парке.
– Слушай, – он вдруг по-ковбойски
заиграл оливковыми желваками, –
он что, никак не пойму, твой любовник?

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: то, что в мире называют любовью,
это все – страсти, страсти...
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинная любовь изгоняет пристрастья,
как Христос – бесов.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: лишь любящий Христа – свободен.
Тот, кто поручил мне Августина,
был свободен и беспристрастен.**

– А ведь у меня есть, – сказал врач-психиатр, –
кореш один – уголовник...
Если он уже вышел,
так для него сделать подложный паспорт – плевое дело!

– Ого! – отозвался писатель-детективист
с юридическим образованием
и назвал статью, в которой был обозначен срок,
и весьма немалый.
– Между прочим, – заметил отец Антоний, меня тему, –
существует поверье,
по которому тот, кто хоть раз примерял
монашеский клобук,
неприменно станет монахом.

– А однажды, – продолжал Августин,
расхаживая туда-обратно, –
поднялся к отцу Авелю в Верхнюю Пустынь
какой-то странник.
«Батюшка, – говорит, – смилуйся, поисповедуй...»
Был он вертолетчиком, когда с гор сгоняли монахов.
Был приказ доставлять их вниз живых или мертвых.
Гнал он так двух пустынников – те прытко от него бежали.
Но вертолетчикам с высоты было далеко видно,
и было им видно то, что пустынники бегут к краю ущелья.
А пустынникам, наверное, уже начинало казаться,
что они отрываются от погони, что спасенье близко.
И вдруг за деревьями перед ними открылась пропасть.

*Они, как вкопанные, как пораженные громом,
перед нею остановились.
Тут-то и подлетели жадные вертолеты,
закружились, как хищные птицы над обреченной жертвой.
И тогда пустынные трижды перекрестились
и по воздуху, по воздуху, как по ровной дороге,
бездну перебежали и скрылись где-то.
И вертолетчики содрогнулись.*

– Августин, – неожиданно проговорил кто-то, –
почему тебе обратно-то не вернуться?

Отец Антоний обычно долго откашливался и
начинал медленно,

с расстановкой:

– Одного монаха поманила птичка.
«Какое-то необычное, – подумал он, – у нее оперенье, голос...»
И пошел за ней и всего-то на полчаса вышел из кельи.
А когда вернулся назад, в обитель,
видит – игумен уже другой и братия ему незнакома.
Стал он спрашивать про своего духовного старца.
Все ему отвечают с недоумением, пожимают плечами –
мол, и видом не видывали, и слыхом не слыхивали про такого!
Наконец, отыскался отец библиотекарь –
человек, сведущий во всяких разных вопросах.
Он сказал, что действительно –
назад лет этак полтораста –
жил в монастыре названный старец,
и даже вызвался отыскать древнюю его могилку.

Эта осень была особенно щедрой.
На кухне в большой прозрачной вазе стояли желтые кленовые листья
и оранжевые сухие цветы, –
Августина поразило то, что их называют у нас «китайский фонарик».
Он трогал их удивленно и осторожно
и радовался: – Надо же – и не вянут!
На массивном блюде лежали багровые разрезанные арбузы,
мокрый виноград, крепкие зеленые груши.
Темнело рано, и было радостно зажигать мягкий свет,
ставить на плиту чайник,
творить перед едой молитвы:
«Благослови, Господи, ястие и питие рабом Твоим...» и так далее...

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: на всяком месте достойно славить Господа Бога.**

Августин начинал уже заметно томиться,
находясь под домашним арестом.
Целыми днями он свешивался с балкона
и громко обсуждал прохожих.
– Августин, – говорила я, – не высовывайся или надень мирскую одежду.
Ты привлекаешь внимание милиционеров:

они охраняют «Березку» и тоже, томясь, глазают.

– Снять подрясник! – вскрикивал Августин.–
Ни за что на свете! –
Каждое утро он его бережно чистил щеткой
и подолгу гляделся в зеркало,
стягивая светлые волосы
черной галантерейной резинкой.

Отец Антоний складывал на коленях смиренные руки
и начинал, покашливая:
– Среди русских сказок
очень много притч – вот одна такая.
Жили-были старик со старухой,
и пригрели они у себя уточку-хромоножку.
А она, когда они уходили, превращалась в деву,
убирала избу, варила похлебку.
И старик со старухой были очень довольны, однако,
эта тайна не давала им никакого покоя.
И решили они утолить любопытство, притворяясь, будто уходят.
Сами же – притаились в сенцах и ждут, что будет.
И когда уточка скинула с себя оперенье, сделалась девою,
им захотелось присвоить плоды своего откровенья:
сожгли они теплые перья и встали победоносно.
И тогда сказала им дева:
– Увы! – за то, что
вы своей волей нарушили весь ход жизни,
лишили меня покрова и облаченья,
должна я теперь вас, несмысленные, покинуть
и тридцать лет и три года мыкаться на чужбине.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: преждевременное прозреньё
может исказить судьбы Божьи.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: можно и от всех земных встреч отказаться
во имя встречи небесной...**

Постепенно деревья начинали терять листья,
и земля стала до черноты обнажаться,
и разоблачались кусты, и леса редели,
и земля готовилась к холоду, к испытаньям.
Если смотреть Августину в глаза,
он вдруг как-то застенчиво усмехался и опускал их,
а щеки его покрывались девичьим румянцем.
К нам приходили монахи и монашествующие молодые люди:
– Не у вас ли живет старец с Кавказа? –
И он выходил навстречу.
Занимаясь в другой комнате своими делами,
можно было услышать:
– А волосы у меня были – вот дО сих...

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: настоящему христианину
не следует ждать осязаемых результатов
в устроении земной жизни.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинному христианину
отчаиваться не должно от видимого поражения
в этом мире.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо любить не себя, но свое призванье...**

Решено было отправить Августина
к Грузинскому Каталикосу.
– В конце концов, Кавказские горы – его владенья.
Может он, – ободряли мы
испугавшегося вдруг Августина, –
согласится за тебя поручиться.
– *И прожил раскаявшийся вертолетчик у отца Авеля
целый месяц в непрерывном плаче.
И простил ему отец Авель все его согрешенья
и благословил до самой его кончины
прислуживать в церкви на самых черных работах.
Тот с радостью обещал грузить уголь для храма
да зимой и летом
то мести дворик церковный,
то лед сколачивать ломом.*

Грузинский Каталикос и подложный паспорт.
Знаменитый Писатель и Фонд культуры.
ЮНЕСКО. Патриархия. ООН.
Красный Крест. Какой-то там Полумесяц...

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: ничего не стоит просить у Бога,
кроме как покаянья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: ничего не стоит просить у Бога,
кроме как помилованья и прощенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: тот, кто хоть раз солгал,
рискует не поверить и Божественному Глаголу.**

На пороге стоял отец Антоний.
Из-за его спины выглядывал маленький человек с длинной седой бородою.
– А это подарок нашему Августину – его старый знакомец:
монах Елеазар, он его знает с детства.
Монах Елеазар сиял, кивал головою, глаза у него блестели:
– Кто же мог ведать, что я в Москве его встречу!
Вот истинно неисповедимы пути Господни!
Вот милость Божья!
– Августин! Августин! – закричала я. – Выходи скорее.
Тут тебе прекрасный сюрприз, желанные гости!–

Слышно было, как самозабвенно он пел
под шум низвергающегося душа.
– Сподобил меня Господь в начале прошлой зимы посетить Нижнюю Пустынь,–
начал Елеазар, часто-часто моргая, совсем по-детски.
– Пришел, а там матушку Августина отпевают в часовне.
Смиренная была женщина, высокой жизни.
Августин говорил, что за целых полгода
Господь ей открыл сроки ее кончины.
И еще говорил, что, давая ему последние наставленья,
благословила она его материнским благословеньем
с гор никогда не спускаться,– да, видно, что-то
приключилось с ним, раз уж он, смиренный,
молчаливый, кроткий, здесь оказался.
Для меня ж, окаянного, его увидеть –
утешение в скорби, благоволение Божье.

Он с нетерпением поглядывал на дверь ванной.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: в духовной жизни
все совершается не «потому что»,
а «ввиду того что»...**

Наконец, дверь отворилась,
и на пороге появился раскрасневшийся Августин,
растрепанный, с улыбкой блаженства:
– Ну, какой там еще сюрприз? А, отец Антоний!
Здравствуйте,– он поклонился Елеазару, смотревшему остолбенело.
Образовалась пауза, и я сказала:
– А это наш Августин! Очень ли изменился
от бестолковой московской жизни?
– Это не Августин,– ответил Елеазар, почему-то пятясь и озираясь.
– Как это не Августин! А кто же это? –
Я почувствовала вдруг, что наш новый гость какой-то несимпатичный.
– А может, это другой Августин? –
спросил отец Антоний, краснея и заикаясь.
– Это не тот Августин, не с Кавказских гор.
А кто он – Бог его знает.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: Господь может наслать на человека
временное ослепление,
если зрение мешает совершению путей Божьих.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо оставаться свободным
от всего «своего» –
даже от всякого предположенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждая встреча
уготована нам свыше.**

И тогда они ушли в комнату

и от меня закрылись.
Они сидели там долго – часа четыре.
Мне очень хотелось подслушать, о чем они говорили,
но я не решалась.

И только когда я просунула туда голову,
предлагая ужин,
я успела ухватить обрывок фразы:
– Ничего, ничего ей не говорите! –
Наконец, из комнаты вышел Елеазар и отец Антоний.
Елеазар, который снял сапоги в прихожей,
казался совсем маленьким, совсем тщедушным.
Августин ужинать отказался.
– Вынужден тебя огорчить, – голос отца Антония
звучал торжественно и очень мягко, –
ты должна знать, кого у себя скрываешь.
Августин – это не «другой Августин»,
а Петушков Саша.
Сбежал из армии в Кавказские горы спасаться.
Жил несколько месяцев у отца Авеля и подлинного Августина.
Просил, чтобы его постригли в монахи,
его же благословляли
спускаться в мир, сдаваться в часть,
продолжать службу.
А он, по его словам, так уже к ним прилепился,
так прижился,
что не мог ни глаз, ни рук оторвать
от креста, кадила и облачения,
прихватив их с собою в мир
на молитвенную долгую память.
Ну а дальше – дальше ты знаешь.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: выпрошенный у Бога крест –
самый тяжелый.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: тот, кто выходит на проповедь,
а Господь его на это не посылает,
умножает лишь своеволие и претит Богу.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждый человек
нам поручен Богом.**

– Я предчувствовал, предчувствовал! –
ликовал писатель-детективист,
потирая руки.
– Надо еще проверить, – настаивал врач-психиатр, –
может, у него оружие там, в портфеле.
– Ничего, ничего, – поглаживал по плечу Августина
монах Елеазар и прибавлял:
– Сердешный,
покаешься, страдаешь – Господь тебя не оставит!

Все, что Августин украл, было возвращено обратно.
Он сначала три дня молчал, забившись в угол.
Потом – несколько дней проплакал
под дождем на балконе.
Я делала вид, будто ничего не знаю.
Возможно, я, на всякий случай, сама боялась
какого-то разоблачения.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: осуждающий своего брата
сам вскоре впадает в подобное прегрешенье.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо бояться не людей
и каких-то там обстоятельств,
а только греха и Бога.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо бояться Бога
так, как боится любящий человек,
что возлюбленный от него отвернется.**

– Можно ли мне после наказания вернуться в церковь? –
Августину ответили утвердительно, радостно, хором.
– А стать монахом?
– Это уж как на то будет воля Божья.–
И все стали долго прощаться друг с другом
и по несколько раз просить друг у друга прощенья.

И уже первый снег пошел,
и по нему расходились все по разным дорогам.
Елеазар сел в Сухумский поезд.
Отец Антоний входил в холодную электричку.
Наверное, пока он к себе доберется,
снег уже заметет его деревянную келью.
Только дым из трубы будет долго виться над полем,
будет долго гореть свеча в домике над рекою –
за весь этот свет,
за весь этот мир,
за настоящего и вымышленного Августина,
за всех нас, грешных.

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: кроме любви,
нет в жизни иного смысла.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: кроме славы Божьей,
нет у жизни иного предназначенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: нет иного права у христианина,
кроме права прощать всем сердцем.**

Вскоре уезжал и Августин – Петушков Саша –

в военную часть сдаваться.
На нем был серый румынский костюм – бесформенный и унылый.
Он был пострижен, побрит, выглядел жалко.
Ручаюсь – жальче всего было ему расстаться
не с золотым наперсным крестом,
не с архиерейским кадилом,
но с самим Августином – желанной чужой судьбою,
с ангельским облачением –
со строгим подрясником,
с бархатною скуфьею,
с мантией, развевающейся по ветру,
с клобуком – этой таинственной легкой лодкой
о двух узких веслах,
на которой, по преданию, после смерти
отправляются вниз по большой и властной реке монахи.
И это уже – навеки!

– Опускай глаза, – говорила я, ведя его по вокзалу, –
миродержители века сего по глазам узнают
жертву.
Не хватает еще, чтоб они в последний момент тебя изловили!
– Я вот только не знаю, – сказал он вдруг на перроне, –
кончилась моя жизнь, началась ли... –
Все вокруг в летящем снегу терялось.
– Поцелуемся на прощанье, – сказал он кротко, –
кто знает, увидимся ли еще, нет ли...

**...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждое испытанье
надо пройти насквозь,
и путь этот – наикратчайший.**

Убирая комнату, где жил Августин,
у его изголовья
я нашла сложенную в четыре раза бумажку.
Там было написано неграмотно и прилежно:
«Сыне, отдай Мне сердце!»
Далее шел непонятный текст –
то ли какой-то гимн,
то ли воображаемого Августина
вдохновенное сочиненье:
*«Доверься руке Моей, уверуй в Промысел Мой.
Ибо Мое попечение о тебе простирается от земли до небес.
И каждое дерево, провожающее тебя, посажено от Моих семян,
и каждый источник, обгоняющий тебя, выплеснут из Моих глубин.
И если враг одолевает тебя, –
это Я послал его победить терзающую тебя змею.
И если обессиливает тебя болезнь, –
это Я послал ее иссушить опаляющий тебя соблазн.
И если сума натирает тебе плечо, –
это Я жернова навесил на грабителя твоей души.
И если тюрьма заковывает тебя в кандалы, –*

с лица земли срывая покрывало.

Дождем целебным в поле моросит,
седлает демона, взлетает ввысь на гребне
и по утрам по-бабьи голосит
на благодарственном молебне.

Стихи о богатом юноше

Я – богатый юноша, и мне жалко
расставаться с сабелькой из Эфеса,
и с камзолом бархатным с алой лентой,
и с пером на шляпе, и с крепким перстнем...

С этой гордой складкой у губ, с повадкой
молодого рыцаря, и с посадкой
верховой, с пружинистой походкой,
с подбородком, выплывшим легкой лодкой.

С тетивою мышцы, с биеньем лимфы,
с голосами арфы, с виденьем нимфы,
с зеркалами рифмы и с Божьим даром –
с этим блеском, маревом, плеском, жаром!

...Я боюсь земли, где плодятся черви,
я боюсь луны на кривом ущербе,
я боюсь пиров, где привольно мухам,
и Царя незримого нищих духом!

И отдам я сабельку с портупеей,
и камзол, и перстень, и пруд с аллеей,
и рожок охотничий, и дорогу
неизвестному молодому Богу.

Светлый взор отдам ему, слух и голос,
каждый вьющийся своевольем волос...
Даже сердце – с его ядовитым медом,
жизнь
и твердь со звездами над черным входом!

Скоро

Миша, наверно, скоро станет священником,
Володя – главным редактором, а Глеб – разведется,
Леночка эмигрирует к своим соплеменникам,
Галя родит четвертого, а Колька совсем сопьется...

Миша скоро наденет епитрахиль златотканую,
Володя – костюм с бабочкой, Глеб – штаны стариковской кройки,
Леночка – что-нибудь импортное, долгожданное,
Галя – сорочку казенную, а Колька – куртку с помойки.

И жизнь – эта кастелянша, костюмерша известная,
по-хозяйски начнет приглядываться: кто в чем? по росту ли? по плечу ли?

Где протерлось, где залоснилось, прохудилось, треснуло?..
И по одежке проводит каждого, и сложит ее на стуле...

Три дня

Говорят, когда человек умирает и уже не чувствует боли,
душа его еще целых три дня по земле бродит устало,
бродит она по знакомым дорогам земной юдоли,
там, где любила она, там, где она страдала...

И уже скинув с себя одежды немощи человеческой
и житейские попеченья сладывая у порога,
как впервые, всматривается она в лица, вслушивается она в речи,
словно хочет что-то о жизни понять из эпилога...

...В первый день помедлит душа моя над Москвою,
пока она зеркала завешивает, пугается отражений,—
с ее речами окольными, с дорогой ее кривою,
с площадями побед, с лестницами унижений...
С ее полетом, истерикой, чванством и панибратством,
с солнцем ее закатным меж изломанных веток,
с детством моим и юностью, с моей бедой и богатством,—
и благословит душа моя ее напоследок!

А во второй день душа моя вспомнит свои скитанья,
там, где, как говорят, и дым приятный и сладкий,
где древний призрак Отечества сходу дает задание —
принести ему то, не ведаю что, и разгадать загадки.
Там под высокими соснами, над спелой россыпью клюквы,
живут, земным благоденствием не тешась, не обольщаясь,
и боятся лишь Прокурора, произносимого с заглавной буквы,—
и благословит душа моя это все, прощаясь!

Ну, а в третий день душа моя пустится, собираясь духом,
туда, где, кроме нее одной, нет виноватых,—
к инокам и монахам, старикам и старухам,
и станет она меж нищих, блаженных и бесноватых!
В одинокую — на высокой горе — забредет келью,
подпоет «Господи, помилуй» и «аллилуйя»
и, благословив последним благословеньем, уйдет с метелью,
унося ожог последнего поцелуя...

О, неужели никто, к кому стучалась она, сдерживая рыданье,
и три дня говорила: «Я с вами! Я не убита!» —
ничего на земле не отыщет ей в оправданье,
ничего небу не скажет в ее защиту?

Похвала Ольге

Из глубины души воззову, возжалуюсь, возрыдаю,
ибо душа моя содрогается: вон и прядь у меня седая!
Взбунтовались чувства мои, данью обложенные, выполнять повинности перестали,
как древляне, подвластные граду Киеву, против князя его восстали.

Плачь, богомудрая Ольга, по убиенном муже – Игоре вселюбимом!
Трепещите, денницей наученные, древляне моего сердца,– огнем и дымом
будете истреблены за пагубу, за служение супостату,
за погубление своего высокого повелителя понесете расплату!

– ...Ты, горделивое мое око, любящее себя во всех отраженьях, во всех одеяньях,
ты, тщеславное мое дыханье,
кричащее о добрых своих помышленьях, благородных деяньях,
ты, немилосердное мое сердце, не прощающее обиды, не спешащее на подмогу,
ты, походка моя неверная, сворачивающая на унылую, толпящуюся дорогу,
ты, существо мое суеверное,
от ближних шарахающееся, как от порчи и сглаза,
ты, сладострастное мое мечтание,
любящее убранство, любовную подоплеку рассказа,
ты, разуменье мое житейское,
разменивающее все, что не влезает в твои карманы,
ты, сознание мое помраченное,
вместо истины светлой избравшее свои личные схемы и планы,

вы, лукавые мои губы,
обличающие земную несправедливость,
вы, властолюбивые мои помыслы,
присваивающие чужие владения, забывающие про стыдливость,
вы, ревнивые мои побуждения,
требующие себе первенства, любви, признанья,
вы, стяжательные мои руки,
чужое с трудом выпускающие, не знающие подаянья,

вы, лживые мои речи,
кичащиеся высотой смысла, любящие суетные разговоры,
вы, чувства мои испорченные, любви убоявшиеся, душегубы, воры!..

– ...Вы, древляне, будете перебиты,
похоронены заживо, выжжены, подобно заразе!
Богомудрая Ольга берется за дело, хороня любимого князя.

Но уже не вернуть ей живого тепла и таинственной речи с любовью –
будет Ольга до смерти расхлебывать со слезами судьбину вдовью.
Но – Бог в помощь на поприще том, а на поле сражения старом
богомудрая Ольга на бунт окаянных древлян отвечает мечом и пожаром!

Так и я – в развращенное сердце свое,
в город чувств обезумевших,
в крепость греха и соблазна,
чистых жертвенных птиц выпускаю
в огне моего покаянья,–
светло и ужасно
полыхают посадки, и гибнут древляне, и солнце восходит с востока...
Богомудрая Ольга в Царьград собирается, но – до Царьграда далёко!

Судьба иностранца в России

Судьба иностранца в России похожа на ключ, только вот
теперь уж никто не отыщет тех славных дверей и ворот,

тех шкафчиков, тех секретеров, тех ларчиков в чудной пыли,
которые с музыкой тайной когда-то открыться могли:
ушли гувернеры, арапы, монголы и немцы, – теперь
из третьего мира арабы то в окна влезают, то в дверь.

...Он вечно – то гость, то захватчик, то друг он, то враг, то истец,
а то и умелый строитель, а то и с товаром купец.
В нем ищут черты лжемиссии, Антихриста видят, а он –
то смотрит с трибун коммунистом, то рыщет впотьмах, как шпион.

...Четыре мучительных века с тоской мы глядим на Афон,
Максима, ученого грека, мы просим приехать, а он,
пока мы в его переводе читаем Псалтирь по нему,
все едет по русской равнине в тверские пределы, в тюрьму.
Его уже века четыре мы как преподобного чтим –
под выюгу, под чтение Псалтири, и сосны бушуют над ним.

...В России судьба иностранца трагична, комична, – она
роскошна, когда не трагична; комична, когда не страшна.
В ней видно Россию далеко, и стынут средь утренней мглы
ампир, рококо и барокко – ее роковые углы.

Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно;
надежно, когда не опасно; печально, когда не смешно.
Он принят по высшему чину, как ангел, сошедший с небес,
и он же – взашей и в спину крестом изгоняем, как бес.
И то здесь страстями Голгофы окончат над ним самосуд,
то в лучших российских покоях присягу ему принесут.

...В России судьба баснословна, странна, иностранна, чудна,
то праведна, то уголовна, абсурда и смысла полна.

...Небесного поприща странник! Отечество славя свое,
ты тоже – избранник, изгнанник, чернец, иностранец ее!
Всемирно встает на колени великодержавный приют,
когда «*На реках Вавилонских...*» его домочадцы поют.

Знаешь ли ты

Знаешь ли ты язык обстоятельств, на котором с тобой говорит Бог?
Понимаешь ли речь случайностей, намеки обмолвок, порванный сон лукавый?
Читаешь ли трогательную историю дня, вслушиваешься ли в диалог
неба и персти, левой руки и правой?

Знаешь ли, о чем красноречиво свидетельствует внезапная немота?
Отчаянно жестикулирует паралич воли? – Свобода в обмороке: иссякли
нюхательные соли ее, выдохся нашатырь... Так читай с листа
смирненные эти буквы – черные дождевые капли.

...Вот я и читаю эти голые ветки, этих нищих птиц.
Эту хронику поденной вековой барщины, судьбы самовластной барство...
И все чаще вспоминаю Саула: отец его посылал искать пропавших ослиц,
он так их и не нашел, но в пути повстречал пророка и получил Царство.

Ослицы, впрочем, сами потом нашлись. И пропадали – не зря.
Они вернулись домой. Отец был счастлив. Земля была разогрета.
Саул был призван на гору и помазан в царя.
И все вокруг ликовало, Бога благодаря!..
Но он обратил себе на погибель призванье это.

Ангел времени Осьмогласник

I

Я тебе расскажу, как я выгляжу в новой шкуре,
как мои корабли потерпели крушение в буре,
заржавели струны, завяло лицо от пыли
и как бесы меня побили.

И какие вышли на волю страхи,
и какие силы легли во прахе,
и какие тяжбы ведутся с Богом
и сердца согревают громом.

II

Но сильнее грога, тревожной гула,
из небес растущего, словно древо,
эта смена ангельского караула,
когда прежний – покуда справа, а новый – слева.

Это значит – теперь иначе горят поленья,
зарастает глухой стеной потайная дверца,
угрожая глазам – переменной зренья,
а любви – переменной сердца.

III

Это значит – является новый звук, похожий на зуммер.
И последний охотник на дикого вепря – умер.
И так много воды утекло, что уже где-нибудь в Миссури
облегает она купальщицу по фигуре.

И очнись я теперь в саванне, в песке и куще, –
перемена места была б не столь вопиющей
и болезненной, как безразличный Хронос:
новый Ангел Времени, который не знает в лицо нас.

IV

Изменилось все – то есть, ритм и масштаб, и образ
времени – потому с недоброй
и лукавой ухмылкой рисую портрет свой: кобра с
заклинателем – заклинатель с коброй.

И пока он поет ей: «Благоже, благоже» – вроде флюса
раздувает она тщеславную шею, брюхо.
Ну а нет, – он смертельно кричит от ее укуса,
загоняя гадину палкою в царство Духа.

V

Потому я тебе расскажу, как все выглядит, как при новом
освещенье – здесь кажется все лиловым,
межеумочным и вдвойне напрасным,
словно сурик в вине растворили красном.

Или – словно закат, придавленный небосводом,
предвещает ветер – юродам, вождям, народам
да сплошной туман в родном королевстве Датском, –
словом, шторм на море Тивериадском...

VI

Впрочем, мне всегда не хватало покоя и воли, денег
и размаха, мужества и смиренья.
За мое тщеславье меня укорял священник,
обещая епитимью за мое куренье.

О, когда бы слиться всецело с Господней дланью,
не припрятав себе ни пяди в пространстве звездном,
ни лихого часа, ни помысла, ни желанья,
не казался бы век беспризорным, а мир – бесхозным!..

VII

Разве вправду – *без головы* – этот бледный Всадник?
И лисе вероломства, портящей виноградник,
от ворованных ягод – разве самой – не кисло?..
Как и нам, – Апокалипсис разодрав на цитатник, Число – на числа?

И пока новый Ангел Времени, близясь к эшафотажу,
поднимает меч, открывает лицо и встает на стражу,
продолжается опись волос сосчитанных, гальки, яиц вкрутую...
Но и он не в силах поправить ни точку, ни запятую.

VIII

Но и он не ведает, что тут – поденщина, тризна, праздник?
И не знает часа, когда торжественно, басом,
заглушая хор мальчиков, листающих осьмогласник,
запоет он грудным и трубным девятым гласом.

И тогда, наконец, отбросив все «*a priori*»,
обойдя околичности, сойдется гора с горою.
И пока все шапки горят на последнем воре,
к Сочинителю своему вернется душа героя!

Семь начал

I

Выходя из города, где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши,
желание выбиться в люди, быть счастливым, убедить себя, что не страшен ад, –
о дерзновеннейшая из женщин, душа моя,
не поднимай горделивую голову еще выше,
не оглядывайся назад!

II

Выходя из города, где кто-то любил кого-то,
где кто-то играл кому-то лучшую из Моцартовых сонат,
и рояль был совсем расстроен,
и у Эроса облупился нос,
и с Орфея осыпалась позолота,—
о, не оглядывайся назад!

III

Выходя из города, где праздновали дни рождений, дорожили мнением моды,
где, на панихиде встретившись, говорили:
«Ба! Давненько не виделись!»,—
пили вино и отщипывали виноград,
где болели хандрой и раком, убивали детей во чреве и принимали роды,—
о, не оглядывайся назад!

IV

Выходя из города, где тщеславились обильным столом, нарядом и башмаками,
задавали себе вопросы:
«Зачем это все мне надо?»
и «Что это мне дает?»,
доказывали, что добро обязано быть с кулаками,—
о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед!

V

Выходя из города, на который и жена праведника оглянулась,
ибо не всякая любовь остыла, и воспоминания разрывают грудь,
и не всякая стрела пропала, и не всякая струна прогнулась,—
но ты, о душа моя, о душа моря, об этом — забудь!

VI

Выходя из города, в котором хоть один купол еще золотится
и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том,
что не каждое слово — погребло и не каждая слеза в прах возвратится,—
но ты, о душа моя, не оглядывайся: замрешь соляным столпом!

VII

Выходя из города — уже поверженного, уже лежащего в пепле,
где даже оплакать некому своего мертвеца,—
о, не оглядывайся, душа моя: забудь, оглохни, ослепни,
когда Господь выводит тебя из города твоего отца!

Путешественник

I. стансы

1

Путешественник ходит всегда вдвоем: он и его кураж
присвоить пространство: «И я здесь был!», оставить след.
Он помечает дома крестом, подправляет рельеф, именуется пейзаж,
швыряет в воду горсти монет.

2

Путешественник всегда немного чернокнижник и оккультист:
он оставляет тень свою, как наместника. Он глядит, как князь,
собирающий дань. Он увозит ракушку, меню в кафе, где обедал, засохший лист,
со своими владеньями в роковую вступаю связь.

3

Путешественник всегда немного астролог и звездочет.
Голова его запрокинута ввысь, тело его – во мгле.
Это он наблюдает, куда по небесной реке течет
судьба его, спотыкающаяся на земле.

4

Путешественник всегда немного артист, немного игрок и бард:
он вдруг останавливается – и поет себе в шарф, в воротник, в мех.
А то вдруг сердце свое раскидывает, как колоду карт.
Здесь – дама. А здесь – валет. И крап – на всех.

5

Путешественник всегда немного зануда. Актер, позабывший роль.
Пригласи его в дом, напои вином – вот-вот
про себя он такое расскажет – всю жизнь, всю соль
высыплет, перемелет, переберет.

6

Путешественник всегда немного ряженный: некто, он же никто.
И покуда в зрачках его серебрится быстрая ртуть,
то сомbrero наденет, то майку со сфинксом, а то
башню Эйфеля прикалывает на грудь.

7

Путешественник всегда немного Гамлет.
Сомнительный принц.

Гость

роковой, находящий, как сон, как тать.
И он порой выбирает «не быть»: свой курящийся лен, трость
надломленную – загасить, сломать..

8

Путешественник всегда немного изгой. За ним
клубятся костры кочевников, пепел несется – сер.
И как только изнемогает в нем пилигрим,
очухивается Агасфер.

9

Путешественник умирает только в известном смысле, хмель
возвращая пространству и праху – прах. Прочее же – река
уносит отныне в направленье таких земель,
где уже ничего отчасти,

в какой-то мере,

чуть-чуть,

слегка...

II

Путешественник напоминает комету. За ним волочится хвост
разлуки. В глазах у него – туман.
Особенно, если это зима, Германия, полночь, четверг, норд-ост.
Бездонный черный карман.

В этот час, когда хороший хозяин собаку не
выгонит, – путешественник, прикусив язык с
бурей, гонит себя по левому берегу, ледяной волне,
где Эльба рыдает в голос, впадая в Стикс.

Потому-то ветер и гонит его в непонятный край,
чтобы ярче за ним горела страна безумная Оз,
где так гулко и глухо звучало ему «прощай» –
того, кто сафьяна слов пожалел, бархата слез...

III

Путешественник оказывается в центре Вселенной. К нему
приноравливается горизонт, носящий зарю внутри,
пристраиваются города, и башни с огнями тьму
топчут вокруг него, твердя: иди и смотри.

И сады сбегаются и танцуют ради него,
и таверна из-под земли вырастает в пустом краю...
Путешественник в блаженстве неведенья своего
почти как Адам в раю...

IV

Путешественника сопровождают ангелы, подвижные, как крылья стрекоз.
Всю ночь стоят в головах, покрывая даль.
Чтоб снилось ему, как в стране несусветной Оз
играют на мандолине, цветет миндаль.

И чтоб проснувшийся на чужбине, где речь темна
и неразборчива, как лепет, заумь химер,
спрашивал, как же зовут ее, и давал имена
собственных сновидений, вроде: Эльба, Изер.

V

Путешественник стоит обедни, трапезы Господа Своего,
даже если никто за него не даст ни пфеннига, ни гроша...
И доколе на литургии поминают его,
ликует его душа.
И когда путешественник входит в заколдованный лес,
переплывает озеро, полное чарований, море, где обитает змей,
за него вся Христова Церковь – от земли до небес –
возносит свои молитвы. «Кири, елей-
сон!» – подхватывает скудная земля Севера, велеречивый Юг.
Восток зажигает свечу, золотит свой иконостас.
Запад возносит кадило, а птицы делают крюк,
чтоб василиску, подкравшемуся к нему, выклевать черный глаз.

VI

Путешественника поминают с недугующими и страждущими наравне.
Равно как и с плененными. Ядовит,
видно, укус разлуки. И речь невнятна вдвойне –
и мучает слух, и терзает разум, и рот кривит.

Словно бы он попадает в чужую драму, и незнаком
почерк ее, и буквы пляшут канкан,–
тем крепче запутывается нить, завязывается узелком
интрига, захлопывается капкан.

Как это все ни читай – лишь – «мене, текел,
фарес» слышится. И вороний грай.
С неба сыплется ледяная крупка, известка, мел,
будто б здесь ремонтируют к Рождеству протестантский рай.

Даже бронзовых ангелов приделывают к домам: пыл
предпраздничной суеты – путешественника с головой
накрывает... Он бы точно купил
бронзового такого же в лавке. Да слишком тот неживой.

VII

Путешественник чаёт новой жизни – и более ничего!
Нового неба, новой земли,– и более ничего.
Вот он вернется, новый, и полюбят его,
даже тот, кто его не любил, полюбит его.

Скажет ему вот так: «Дорогой,
я тебя полюбил!» – и более ничего.
И дотронется до руки, как никто другой.
И более ничего.

И путешественник в тонком сне, рискуя его спугнуть,
улыбается так блаженно, словно ради сего-
то легкого сновиденья он и пускался в путь...
И более ничего.

И разлука поет псалмы

Тане Снегиревой

То мечтает она быть японскою фрейлиной во дворце,
то разведчицей в Константинополе, то игуменьей и черницей,
то в собольей шапке во гробе лежать: в лице
ни кровинки, вокруг – все райские птицы...

То мечтает она в Баден-Баден, то в Ерусалим, а то –
в скит: отмаливать мир, страдать за грехи Отчизны...
Ну и так далее. О, никто здесь, никто
с ней соперничать не посмеет в широте жестов и силе жизни!

Не про нее ли это: звезда во лбу и месяц в русой косе?
Меч на бедре – и повержен враг, и на воле пленный...

Ибо тысячу и одну жизнь на себя примерить и благословить их все –
что может быть простодушной, доверчивей и блаженней?

...Если верить Господу, то все здесь – добро зело.
Даже смерть на миру красна, и торжественны в красной митре
бедность и одиночество... Ибо всякой свече – светло,
и разлука поет псалмы, и печаль играет на цитре!

Гимн

Слава Зажигающему солнце и Усмиряющему океан!
Слава Рассыпающему первую зелень на черных ветках,
Дунувшему – и стал ветер,
Дохнувшему – и стал туман,
и в родовом колодце мы все отразились в предках.

Слава Согревающему зимнее детство, Просветляющему юную кровь,
Защищающему нас от ночного страха своею дланью!
Слава Тому, Кто женщинам дарит любовь,
а мужчинам жалует вожденное знание!

Слава Украшающему юнцов и юниц,
Укрепляющему стариц со стариками,
Вскармливающему младенцев, Выпускающему на волю – птиц,
Покрывающему наши низости высокими облаками!

Слава Посылающему на запад снег и зной – на восток,
Ударяющему в тимпаны среди камней и пыли,
Избавляющему нас от черного дня, чтоб не копили – впрок,
но странствовали налегке и царственно жили!

Слава Благословляющему пчелу и Одевающему змею,
Слышащему любую цикаду в ночном чертоге!
Слава, слава Тому, с Кем поем мы радость свою,
а страданье и сами мы пели раньше, глядя под ноги!

Отцу (I)

Папа, больше тебе по этой земле не придется скользить и мерзнуть,
смахивать морозную неживую слезу с ресниц,
шляпу свою смешную на лоб надвигать от ветра,
когда идешь, накрываясь вперед, навстречу ему...

За тебя и за усопшего – сладко, светло молиться:
насыщенный кротостью, ты, наверное, там,
где – страшно сказать – твой Ангел, и твой Спаситель,
и сам Серафим Саровский, которому тебя поручила мать.

За тебя – за смиреннейшего Александра,
я скажу на эту земную боль и неземную красу:
был ты вроде диковинного рододендрона, олеандра
в этом роде, в смешанном этом лесу!

А когда и меня понесут отсюда во гробе,–

потерявший руку в великой страшной войне,—
ты из белых одежд две руки вдруг протянешь: обе
распахнутся блаженным объятьем навстречу мне!

Отцу (II)

Есть в оркестре такая одна деликатная скрипка:
сквозь фортиссимо и грандиозо концертов – почти не слышна
и едва уловима, но тайно, пронзительно, зыбко
здесь, под самым под сердцем поет, не смолкает она.

Так и ты, дорогой: как бы сам неприметен, стушеван
в оркестровую яму, покрыт партитурой чужой,
только голос твоей драгоценнейшей скрипки грошовой –
что он делает, папа, с моею душой?

Знаешь, папа! Когда умирает отец, лишь равнина
остаётся в заступниках и конфидентах. Всю ночь
утешает меня, одаряя, как блудного сына...
Укоряет, как блудную дочь!..

Рождество

I

Я молюсь все отчаянней, все усердней, но декабрь – свидетель,
высокомернейший лук Стрельца прижимающий возле сердца,—
он запомнит, как двери мои посрывались с петель,
и петляла дорога моя, как черный дым погорельца.

Ах, что делает нынче овца и смиренный кролик?
То же буду делать и я – безответно, немо.
Духовник мой сделался вдруг католиком. Как католик
в декабре он видит уже звезду Вифлеема.

То есть, он уже миновал сочельник и как латинянин
заглянул в ясли, склеенные из фольги и ваты.
А мои волхвы все мешкают возле Ирода. Ирод ранен
их пророчеством в сердце. Близится час расплаты.

II

И пустыня уже приготовила Ему вертеп.
И небо уже зажгло для Него звезду,
и пастухи уже развели огонь, разложили хлеб,
и волхвы потекли в путь, и праведники вострепетали в аду...

Словно бы им привиделся сияющий вертоград.
И они Царю его сказали: благослови,
пав пред ним... Блаженнейший виноград
Он давал вкушать умирающим от любви...

И на всем лежал отсвет этой звезды и покров мглы,
и ангелов стало так много на острие
наитаинственной иглы,
пришившей небо к земле.

И лестница протянулась от самых седьмых небес,
от первых и от последних дней,
до этой сухой земли с ветрами наперевес,
до этих бесплодных слез, до этих мертвых камней.

И каждый стал думать, что ему принести,
Младенцу, Мужу скорбей:
пещера сказала – животных в теплой шерсти,
пустыня сказала – люльку моих зыбей.

Золото, ладан, смирну – волхвы сказали, а твердь
сказала – звезду,

а нищий очаг – огня.

А пастухи – свое ликование...

А Ирод сказал: «Смерть»,

а сердце мое: «Меня,
принеси меня!».

«Невидимая брань»

Сердце – предатель. Сердце – всадник и странник.
Сердце – охотник в засаде и зверь в загоне.
Сердце – старый дьячок, бубнящий под нос помянник.
И – чародей на троне!

И ростовщик! Шулер! Рабовладелец!..
И фарисей. И смертник. И смерд, бузющий в плацкарте.
Ну а паче – отшельник, безмолвник и погорелец.
И второгодник на самой последней парте!..

Сквозь роковые его перебои и перестуки,
сквозь кожаные мешочки его и платья –
только одно и поймешь: как ни раскинешь руки –
получается крест...

И Распятый распахивает объятья!

Переписка Грозного с Курбским

Пишет Курбский Грозному:

«Почто бесчестью
землю русскую предал? Волшбой и лестью
утоляя пыл своенравный,
в люциферовых играх, в бесстыжих масках,
в скоморошьих бубнах, в козлиных плясках
опоганил трон православный!»

Пишет Грозный Курбскому:

«Сгинь, лукавый!
Сам отверг ты Отечество с его славой,
сам отвергнул крестное целованье,
пренебрегши душой и Господним страхом,
предавал ливонцам и всяким ляхам

храмы Божьи на поруганье!»

Пишет Курбский Грозному:

«Сгинь, нечистый!

Сам толкнул ты меня на путь тернистый,
честь боярства пуская прахом,
кровью княжеской упиваясь досыта,
почто сгубил Филиппа-митрополита,
Корнилия зарубил одним махом?»

Пишет Грозный Курбскому:

«Сгинь, изменник,

басурманский прихвостень, ада пленник,
от семян Иуды осатанелых...»

Пишет Курбский Грозному:

«Сгинь, денница,

Вельзевул, Антихрист, – почто родиться
ты явился в наших пределах?»

И такая брань сквозь столетья мчится,
откликается в русской душе, двоится,
наважденья ее смятенны:
полоумный деспот засел в ней зримо,
перебежчик, опричник, шпион из Рима, –
да младенцы плачут, что убиенны...

Разливаются реки, не сдерживаемые берегами,
и гудит земля, и горит земля под ногами.
Полнолуние. Солнечное затмение...
...Но встает из крика, стоны и всхлипа
чудотворный образ мученика Филиппа,
и Корнилий грядет из тленья!

Я все больше думаю о твоём вероломстве,
двуличии и коварстве.

Если найдут мои дневники – в потомстве
выйдет распря о нас.

В призрачном государстве

что ни дом – то схизма: непрочный и непочатый
край для дробных чисел, делений в строчку.
Даже слово толкуют здесь рОзно, и виноватый
виноватого гонит. И некому ставить точку.

Что ни речь здесь – то ересь.

Разлитой ртутью

перекатывается земля меж Западом и Востоком.
Переменчивый ветер – и тот сродни словоблудью.
Недоверчивый свет луны, выходящий боком...

Ибо – что ни душа, то раскол.

Аввакум и Никон

дышат жаром друг другу в лицо, а начнет смеркаться, –
так во тьме многоярусной, в воздухе этом двуликом
ни поладить, ни спеться двоим, ни порвать, ни расстаться...

Март

I

Март. Подземные колокола. Палящие жерла
пушек, возвещающих траур. Дух заупокойных обеден.
Словно на негативе – сам Император-освободитель: жертва
горделивой черни. Он бел и бледен...

О, март, март! Ты лежишь на дряхлых носилках,
небо твоё – в переменчивых двусмысленных звездах.
И при них – душа моя, что девочка на посылках
мечется и вдыхает цареубийственный воздух.

II

Выпускающий птиц все держит их у себя до срока.
Только и прока в поющих раскачивающихся соснах,
да еще эта скачущая по ледяному насту сорока
в одеждах великопостных.

Знаешь ли: так и я, так и я в такую седмицу,
шатаюсь по снегам черным, – с каждого бока
на любую сверкнувшую вдруг вдалеке вещицу
округляю око.

III

О, март, март! Ты намеренно понижаешь высокое, низкое делаешь еще ниже...
Крепости ледяные растворяются в мировом океане.
Следы исчезают в месиве, дороги корчатся в жиже.
Дырка в твоём кармане.

И когда начинается великое таянье, половодье,
сдвигаются с мест вековые пласты памяти, обнажается немощь духа:
разночинство принимается выть на луну, мается простонародье,
а у прочих – мигрень, инфлюэнца, сплин, обморок, золотуха...

IV

О, март, март! Некому тебя подморозить. Уже невремя
сдерживать небесные хляби, брать высоту с бою:
крепкое твоё воронье, сорочье семя
зацепилось – сердце подкармливает его собою.

«А была ведь прекрасна просто, бела, богата,
а досталась черни чернейших чувств, ропоту дурной крови...
Вот какая смута великая без царя-то!» –
так говорит март,

а земля хлюпает, путает окончанья в слове...

Это называется – «брань». И она – невидима. Это – когда мысли начинают подавать голос, перекликаться и пререкаться. Уплотняются, делаются осязаемыми и уклончивыми, как вода, – начинают разбалтываться, перехлестывать через край, толкаться.

Обволакиваются образами, вписываются в пейзаж. Обольщают правдоподобьем, мастерством уловки, красноречивым пассажем, переходящим в кураж... Дело доходит и до пощечин, и до рукопашной, и просто – до потасовки.

Они заполняют все низины, все возвышенности, холмы, даже пики души – нетронутые ее вершины. Гикают, шикают, шашками дымовыми – дымы напускают и лгут, что они здесь теперь – исполины.

Что теперь их не выгонишь и не вернешь ничего из поруганного и потоптанного башмаком пехотинца. Даже матери – дочь. Даже мужа – жене. И того не подпустишь уже – без уступки, прощенья, гостинца.

Вылезает из-под лиственного спуда черная и мерзлая вода.
Что же ты не обещаешь чуда
и меня не утешаешь никогда?

Я сама должна искать себе опору
и, скрывая сумрак ледяной,
на окно повесить бархатную штору
с изощренной архаичной бахромой.

И сама с собой вести беседы,
Божий Промысел в ответчики призвав.
Что же ты мне не сулишь победы
и не дергаешь в поддержку за рукав?

Или хочешь отмолчаться, затаиться,
ждать, когда я, вырастая из себя,
выше мира полечу, как ангелица,
в золотые раструбы трубя?

И тогда, раскачивая плавный
воздух над землею голубой,
ты со мной заговоришь как равный
и как равной скажешь: «Бог с тобой!»

Дочь

Девочка-приемыш – в порядочную семью
взята в семидневном возрасте из роддома.
Догадывается об этом. Ищет мать свою.
Ищет отца своего. Ей кажется, что знакома

вот эта американочка с журнальных страниц,
вот этот блондин из проехавшего лимузина.
Она смотрится в зеркало. Находит сходство. Между ресниц
запечатлевается трагическая картина:
страшная буря обрушивается на корабль, –
каждый спасается на обломках.
В пасмурном небе заблудившийся дирижабль
опрокидывается от ветра. Все тонет в потемках.
Они терпят крушение у берегов Филиппин,
над Атлантическим океаном, над лесами Сибири...
Проведение их спасет от когтей, клыков и глубин,
но разбрасывает всех врозь и теряет в мире.
...Приемные родители посылают в школу, везут в метро.
Но какие-то в небе торжественные поют трубы!
Девочка поглядывает вокруг таинственно и хитро, –
брови ее приподняты, поджаты губы.
Что-то ей шептывает: вон та – волос курчав,
тонкий профиль, неизвестный мастер, английская миниатюра.
Что-то ей подсказывает: вон тот – величав,
орлиный нос, эполеты, царственная фигура!

...Перед ней выстраивается род человеческий во всей красе:
колышутся шляпы, клобуки, перья на шлеме.
На этот семейный праздник собираются все –
вплоть до Адама, который еще в Эдеме...

До небесного Иерусалима

...Ты теперь еретик и раскольник.
Перейдя роковую черту,
рассыпаешь мой дактиль, мой дольник,
мой анапест в опальном скиту.

Это – птицам на корм, это – трели
бегства в небо, когда дотемна
лжепророками Иезавели
дух измучен, душа стеснена.

Это – близко последняя битва:
буря, клекот, биение крыл.
Это – бдение, это – молитва,
это – то же, что ты говорил:

«Проведи меня полем до спуска,
по оврагу и дальше – средь тьмы,
довези до Козельска, до Курска,
до Колязина, до Костромы.

До чертога, плывущего мимо,
где стоят херувимы, грозя.
До небесного Иерусалима...»
...Дальше – некуда. Поздно. Нельзя.

Танцующая Зоя

«Зоя, Зоя, век девичий – краток,
и мечта – пуста, и жизнь – плоха.
Всуче, Зоя, возле танцплощадок
караулишь жениха!..

Серенад здесь не поют испанцы
и колец не дарят под полой,
разве что разок тебя на танцы
кликнет Колька с фиксой удалой».

«Эх,– сказала,– что мне с вашей голой
правдой делать, как не бунтовать?
Буду я с Угодником Николой,
С Чудотворцем буду танцевать!»

В новое и белое оделась,
со стены икону сорвала,
закружилась с нею, завертелась,
в танце поплыла.

И, притопнув, возле шифоньера
встала на мысок – крута, лиха:
«Вот кто мне теперь – за кавалера!
Сам Угодник мне – за жениха!»

И – окаменела вдруг. Икона
у лица. И руки, как крючки.
Сам Святитель смотрит непреклонно
В узкие безумные зрачки.

Черная слепая роговица
порывает с этим миром связь.
Вот тебе и праздник, танцовщица,–
дождалась, добилась, дозвалась!..

...Только стук за стенкой спозаранок.
А к полудню – снова тишь да гладь...
Волен Бог желанья самозванок –
исполнять!

Исход

– Лучше свиное мясо в котлах изгнанья,
саек египетских мякиш, сироп неволи,
чем ненадежный дар Твоего призванья,
жареный воздух пустыни, кристаллы соли!
Лучше пахучая снедь от рук фараона,
сытость, склоняющая ко сну, беспамятства морок...
...Это израильтян Моисей ведет из полона
и десять, и двадцать лет, и тридцать восемь, и сорок.

– Лучше на площадях выставлять фигуры

египетских полубогов, мрамора не жалея,
каменными цветами украшать фронтоны, бордюры,
укладывать вождей в мавзолеи,—
чем неизвестности воздух, сгущающийся, как творог.
Страх наступает на пятки, прокрадывается измена...
...Это израильтян Моисей ведет из полона
и десять, и двадцать лет, и тридцать восемь, и сорок.

– Пусть притеснители наши потоплены – перебиты,
пусть накормить обещает нас не земля, а небо,
но лучше уж строить дамбы и пирамиды,
рыть каналы, каналы – за ломоть верного хлеба!
Лучше под крепкой мышцей жизнь раба на чужбине,
ибо не страшен тогда свой внутренний враг...
...Это израильтян Моисей ведет из полона
и десять, и двадцать лет, и тридцать восемь, и сорок.

Когда бы ты, тогда б я все могла простить, забыть могла!
Когда бы ты, тогда бы я могла бы по водам пройти
и ветвь оливы золотой из уст моих, из губ росла,
как волосы на голове,— до звезд, до бездн почти...

Свидетели моих скорбей – о, как бы раскрывали рты!
И утешители мои – все шесть роскошных крыл!..
Но белизну своих одежд, но чувство правоты
ты, словно пестрый шар, надул, как чучело, набил.

Так что ж, раз это Бог судил, раз это Бог отвел,
так и шептать: «Избавил Бог»? «Все к лучшему» – шептать?
Пока с велюровым шмелем внутри – шиповник не зацвел,
пока олива, почернев, не начала роптать!..

Снаружи и внутри

Маленькая женщина с сумочкой, с завитком у виска
семенит на зеленый свет, вдыхает запах весны,
а в груди у нее вроде как битва при Фермопилах,— войска
ринулись в рукопашную – кровожадны, распалены...

И все заливают мертвящий стеклянный свет,
и все оглушает протяжный надрывный стон,—
маленькая женщина чаёт больших побед,
и правоту свою снаряжает, как легион.

Вроде бы, каблук у нее сломался, а это прорыв
где-то на левом фланге... Вроде бы, у нее текут
батареи в доме, а это – прорыв,
ход подземный,— враг уже тут как тут...

Вроде бы, на работе сокращения, а это – в крови
полководец лучший рухнул, лежит ничком...
Вроде бы, погода паршивая, а это – любви

достоверной – что-то не заметно ни в ком...

АПОЛОГИЯ

...Что твердишь ты уныло: нет выхода... Много есть входов!
Есть у Господа много персидских ковров-самолетов.
У Него и на бесах иные летают святые.
И горят в темноте кипарисы, как свечи витые.

О, всегда я дивилась искусствам изысканным этим,
дерзновенным художествам – птицам, растениям, детям.
И мне нравились их имена – аспарагус и страус,
завитки насекомых – вся нотная грамота пауз.
Над лугами летают поющие альт и валторна,
и ничто не случайно у них, и ничто не повторно!

...Разве зебра не сбавила б спеси дурной с авангарда?
Что, верблюда бы он переплюнул? Побил леопарда?
Носорога б затмил? Или радугу б взял из кармана?
Иль придумал бы что-то покруче, чем зад павиана?
Чем глаза крокодила? Чем хохот гиены зеленой?
Или чрево кита с беглецом драгоценным Ионой?

Что б придумал новее пустыни, ходящей волнами?
Иль цветущей саванны? Могучей реки с рукавами?
Огнегровкой цунами – над мачтами гордых фрегатов?
Осьминогов жемчужных? Литых электрических скатов?..

Что новее монаха-отшельника в рубище строгом?
Он на льве возит воду, сердечно беседует с Богом.
И, как спелую смокву в горсти, как подбитую птицу,
обозреть может землю, пройти через стены в темницу,
нашептать рыбакам, чтобы риф огибали левее,
исцелить паралитика – что ж мы видали новее?

Потому что здесь все не напрасно и все однократно:
если выхода нет, пусть никто не вернется обратно!
Но войти можно всюду – нагрянуть ночью грозой,
сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозой,
нагуляться с метелью, озябшими топтать ногами,
на огонь заглядеться, на многоочитое пламя:
как гудит оно в трубах, как ветер бунтует, рыдая...

...И окажешься там, где свободна душа молодая!

Человеку, бросающему курить, объявляется сразу война:
его покидают успехи, с клетчатым пиджаком любезничает жена,
и кто-то развязный в креслах его сидит, заслоняя свет,
и на каждое его слово восклицает: «Нет!»

Человеку, бросающему курить, как сбежавшему из плена рабу,
нигде не находится места –

ни о чем не проси!

Текст твердя молодой и кондовый,
подбоченясь, с улыбкой стальной,
я хочу быть богатой-здоровой,
а не бедной-усталой-больной!

Моря! солнца! цветов! винограда!..
И услышала я с высоты:
– Все, что хочешь, Я дам тебе, чадо,
но без этого ближе Мне ты!

Немощь

В детстве я боялась смерти в виде будничного
эпизода: наледи на краю колодца,
иль иголки швейной с нитью, вдетой в будущее, –
спит царевна, спит и не проснется.

День сменялся сумерками грязновато-палевыми,
испарялся охрой из стакана.
Ну а вы – как жили вы? безопасно спали вы ли?
Под какой охраной?

Сны смотрели льстивые, грозные и пр!елестные,
где расплывчато, туманно и всесильно
звезды, облака над вами – кучевые, перистые,
и земля вокруг – крепка и семижилына.

Мне ж – тончайшей тканью, ожерельем бисерным
жизнь страшна была: вот-вот порвется
от зацепки малой, вдоха, шага, мизерным
ноготком царапается, коготком скребется.

Мир грозил ей киноварью душной, стеариновой
свечкой, непогашенной спичкою усталой,
рыбьей костью в горле, коркой апельсиновою
под ногами, камнем с кровли обветшалой.

Молнии обшаривали небеса, пошаливали
их шары, грозились выдать имя.
О напрасной смерти слезы Авелевы
вопиют. Земля полита ими.

...Но познавших немощь собственную, ту еще и
беззащитность, ужас, страх и трепет,
как младенца, обволакивает облако ликующее,
нежность ранних птиц, блаженства лепет!..

Соловей

Ничтожный, серенький – не видим меж ветвей,
не уязвлен земли безумным зудом:

ни сладострастием праматери своей,
ни праотца неутолимим блудом.

Когда погасшая лежит в ногах земля,
скажи: что надобно от мышц, костей и кожи,
чтоб петь – от Имени –
и стать устами – для
победной радости, блаженной мысли Божьей?..

Чтоб этот сбивчивый, дурной, бесцельный сон
развеять начисто и без самодовольства
уверить каждого:
«Ты – радость! Ты – прощен!» –
на языке небесного посольства.

Ведь это же не ты, и не твоя
любовь перерастает мир,–
но если
великой немотою бытия
пустыня молится,
то лес – слагает песни!

Деревья

Кабы речь деревьев могла понимать – за гнутый пятак
не цеплялась бы к жизни своей, жила б ликуя...
У людей – какие слова? Все не слава Богу им, все не так.
У деревьев же – слава Богу все, аллилуйя!

От людей какой получишь привет, какой прием?
Дай, уйди-подвинься, отстань да сделай...
А деревья благодарственный – зеленый – поют псалом,
золотой – величальный и благоговейный – белый.

И когда они в черном смиренье идут сквозь тьму,
люди страсти свои им приписывают и от страха
без оглядки бегут – неизвестно куда, к кому? –
спотыкаясь и вновь на себя натыкаясь с размаха.

Искушение

Вдруг увидеть: среди чужих дворов
и до самых петухов четвертых
ты идешь, и страшен твой покров.
Не безумье ль – крикнуть: «Будь здоров!» –
мертвому? Но ты – живой среди мертвых.

Как тебе в той ледяной стране,
где уже – ни бури, ни измены,
ни стрекоз, ни лодок на волне?..
Иль ты столько думал обо мне,
что прорвал преграды и пелены?

Иль – по маловерью моему –

обольститель христиан усталых,
по ночам не спящих и во тьму
пялящихся – послан мне?..

Ему

сказано ж – на кровлях и в подвалах:

– Мы не лепим из поденных драм,
одинокств, сумрака и братства
призраков. Не верим их дарам.
Лазаря мы не поем вора.
И своих усопших по дворам
не гоняем за полночь шататься!

Саул и Давид

Царь Саул и поныне ищет души Давида.
Но Давид вовек не убьет Саула.
Ибо – только вместе с Саулом умрет обида.
Ибо – только вместе с Давидом поет опала.

И тоска ликует. И смерть глядит, как невеста.
Но когда псалмопевец смолкает и петь не может,
царь Саул себе не находит места:
чуждый дух терзает Саула, гнетет и гложет.

Но Давид, повторяю, вовеки – пророк, изгнанник –
не убьет Саула на царской его кровати,
ибо тот – Помазанник и Избранник,
хоть и богооставлен, а все не лишен печати.

Как он гонит Давида! Сживает его со света,
наступает на тень его, бьется с эхо, томится...
И душа моя тоже: и так, и этак, и то и это –
пророчица и гонительница, страдалица и царица...

Оттого-то мой конь имеет двойную сбрую,
и двойную жизнь мою знает: этакую, такую, –
как горюю и праздную, праздную и горюю,
как ликую и бедствую, бедствую и ликую.

И когда я умру, уже не имущая вида,
и когда надо мною скажут: она уснула, –
царь Саул, наконец, нагонит царя Давида.
И Давид поразит Саула.

Имя

Н. Кононову

Лучше б, Коля, ты остался Татаренко –
там и тетерев тебе, там и татарник,
тетева, натянутая туго,
тайна, Коля, на губах – роса и горечь...

Да и я б себе иное имя

Господи, помилуй леди Гамильтон с ее седым адмиралом!

Дочь их уже не помнит ни Альбиона, ни фольварков, ни фейерверков,
ни тревожной кормы, ни белых ступеней, ни велеречивых названий.
На месте бывшего Лондона – теперь домовая церковь.
На месте флотилии – кладбище затонувших воспоминаний.

Потому что, сгорая, бывшее великолепье
возвращает лишь пепел да негодный подмокший порох.
Да еще – карабин с неподъемной якорной цепью,
на которую посадили запах морской, и плеск, и грозу вдалеке, и шорох.

Прокисает вино торжеств. Исыкает жизнь на закате.
Даже дочь становится немолодой – желтизна в букете и плесень в хлебе.
Даже смерть – и та – проходит, оканчивается... В результате
остается лишь леди Гамильтон со своим избранником. Да Бог на небе.

Командор

Афганец, оставайся прав!
Там, на одной из переправ, –
между ветрами –
ты был распят, ты был сожжен
и собран с четырех сторон,
и вот – ты с нами.

Кому война – брагурный клич,
кому война – ременный бич
и столп позорный.
Тебе ж – и решка, и орел:
сам Промысел тебя провел
сквозь вихорь черный.

Ты явлен нам, как Командор,
как кондор – из-за черных гор,
из царства тлена.
И – оловянной всех солдат –
глядишь, а тут иной расклад:
беда, измена.

Почто играли вам поход,
почто стреляли вам в живот
из всех обрезов,
и вы сползали по скале
и просыпались на столе
для двух протезов?..

В волчцах, в поту, в крови, в пыли
до самой Мекки вы б дошли
по шатким сходням,
и демоны кричали б вам:
«Пришельцы белые, салам!» –
из преисподней.

Вам подносил уже Восток
и горный лед, и кипяток
и выше мира
вас ставил гордой чередой,
и Ксерксовой горел звездой
и солнцем Кира!

Не в человеческом же тепле
томить нездешний дух – в земле
от лба до чресел!..
Всей этой крови с молоком
дай по трибуне кулаком,
что прав твой Кесарь!

Ты видел со звездами – твердь.
Ты видел со зрачками – смерть:
она, как Геба,
лила вино сквозь решето,
и если выбирала, то
по воле неба.

Праздник Рождества

«Да если Господь захочет, – ни нога твоя не преткнется,
ни аспид из моря не вылезет, ни василиск – из леса», –
так уверял меня бывший начальник волжского пароходства,
по беснованию скрывшийся в монастырь и победивший беса...

И был он похож на Угодника Николая – так аккуратно
белые кудри его лежали, наподобье вспаханной пашни,
так тщательно были отмыты волжские пятна,
начальственные подтеки, пароходные шашни...

Так поднимал он добрую чарку и пил во славу
праздника Рождества Христова, наставляя благою вестью
эту овцу заблудшую, эту поруганную державу,
эту меня, рухнувшую в одночасье, как дом – всей жестью.

И пока он показывал старые фото: себя – в лычках, в погонах,
щелкал по ним для острастки, не щадя натруженных пальцев, –
все отчетливей становилась на небосклонах
Вифлеемская покровительница – Звезда скитальцев!..

...Я пыталась держаться за стены храма, за столп идеи
и за эту землю, как за добрую сбрую.
Только нет, оказалось, никакой иной панацеи,
кроме спины, на которой пастырь тащит овцу худую!

Исцеление

...И тогда рука его перебитые кости соединила,
нанизав их на штырь специальный. «Вот так, вот так», –
приговаривал он, пока собирал, пока чинил Михаила.

А Михаил перед ним лежал – переломан, страдающ, наг.

И закатное солнце пятнало все и рябило,
и спекался в лампе жирный, желтый вольфрам,
а он все прикручивал, завинчивал Михаила.
А Михаил перед ним лежал – напряжен, неподвижен, прям.

И лучи скользили вдоль аккуратного такого пробора,
за которым начинался мир – окно, воздух, улица, панорама, вид,
и бежали елочки и сосенки с косогора...
А Михаил перед ним лежал – бессилен, разбит, небрит.

И рука его, наконец, жилами обложила и кожей тесной
обтянула сокрушенные кости, и, сие сотворя,
отступил он, давая место воле небесной...
И восстал от одра Михаил, Бога благодаря!

Рэкетир

Не обольщайтесь: он меж нас рожден,
он с нами нес бессмыслицу, и он,
предпочитая кодексам – фанеру,
сам правит бал – гуляет и живет,
и раскаленный ставит на живот
утюг – миллионеру.

Он тоже стосковался по судьбе.
По подвигу и жертве. По стрельбе.
По ране в животе. И цель благую
хотел бы знать в лицо, но – темный край –
идешь к себе, аходишь в долю, в пай:
шел в комнату – попал в другую.

Играя с нами с детства каждый дубль,
затертый, обесцененный, как рубль,
в безумной этой ленте без названья,
он чувствовал, что есть иной сюжет
и на него уже направлен свет
избранья...

Есть дух войны. Есть пафос общих дел,
в которых свыше Марс кладет предел
и теплохладью и безволью.
Когда бы только Золотой Телец
его манил!.. Но тот великий льстец
иною соблазнял юдолю:

небрежно так цедя сквозь зубы речь,
поставив ноги чуть пошире плеч, –
вне государства и над веком –
меж духами – то в перьях, то в шерсти –
чужую жизнь и смерть зажать в горсти
и чувствовать себя сверхчеловеком.

...Я знала инока. Он сам был из шпаны.
И он хотел отбить у сатаны
весь этот сброд – крестом, водой и мирром.
И даже Тот, Кто был три дня в аду,
блудниц и алкашей имел в виду
и приходил за этим рэкетиром.

Ах, как Леня – нынешний замминистра культуры – у нас танцевал!
Он выбирался на середину комнаты и всегда оставался соло.
Он руки заламывал на затылок, он локтями неведомое писал
и тихонечко так поводил ногами, как бы и не касаясь пола.

Словно он Господу говорил: Господи, Господи, вот он – я!
Я – Леня такой-то, Давид пред ковчегом Завета,
первенец Твой и любимец. Баловень, не сводящий края –
с краями, концы – с концами от избытка Твоего лета.

От чрезмерности, Господи, Твоего бытия,
от надмирности Твоего владычества, величия Твоих владений,
великолепия Твоего лица, Господи!

Вот он – я,
сын земнородной, танцовщик, певец и гений!

И никто не мог ему соответствовать, быть парой, и все молчком
наблюдали, не смея соперничать: он, как скрипка,
всеми струнами пел вдохновенно под Божьим смычком,
в водоеме воздушном плескался самозабвенно, как Божья рыбка...

И когда уже стал замминистра, к нему на прием
я пришла и села на стул казенный. Уныло, совсем устало
на меня смотрел человек сгоревший. О деле моем
не хотел и знать. Но что-то припоминая, помог немало.

Счастливая тетя

Буду тетю мою расспрашивать, а вы все – спите:
«Тетечка, про любовь свою расскажите!»
И незамужняя тетя
начинает: «Он был капитаном дальнего плавания...» На самой высокой ноте
ветер свистит, качает корабль, обрывает снасти:
замирает сердце от этой беды и страсти.
Полыхают солнца, молнии и созвездья:
море требует жертвы, небо жаждет возмездья.
Словно содвинулись разом две роковые чаши.
Пьющие из обеих: «Спасите наши
души!» – кричат. Вокруг так много тумана,
где можно искать всю жизнь далекого капитана...
Капитан обессилен. Но смотрит весело. Он оброс бородою.
Он тоскует по тете, когда она молодою
проводила его и за семью морями
вышивала ему кисет витиеватыми якорями.

...Это дальнейшее плавание затянулось. Но все – спасутся.
В этих огненных водах очистятся, обернутся
ночи – любовью вечной, а дни – блаженной страной...
Это дальнейшее плавание всего лишь величиною
в какой-нибудь век земной, но ведь – не дальше рая...
– Удалась вам жизнь, дорогая тетя!
– И тебе удастся, родная!

В брачной одежде

На солнцепеке – как весел был ситец в горошек!
(Долго хожу и хожу у больничных окошек.)
Как рукава разноцветные к небу взлетали!
(Господи, я повторяю, скажи хоть – жива ли?)

...Шила блузоны в оборках, кокетках, широко
юбки кроила – вразлет, солнцеклешем, – барокко
и рококо: эти рюшки, воланчики, платья –
в кружеве, петельках, лентах, кармашках... Объятыя
так широко раскрывались, и розы в ключицу
вышивкой вдруг утыкались, взобравшись по ситцу...

В галантерейную роскошь даров промтоварных
нас одевала она – некрасивых, бездарных,
бездерзновенных, смотрящих темно и устало,
словно на праздник, готовила нас, выпускала,
словно на пир, где нельзя быть иначе одетым,
чем в эту радость нарядную – с небом и светом!..

Как вдруг обвисло, как скомкалось все безобразно!
Если бессмертна любовь и добро не напрасно,
тем же воздай, чем она одаряла так щедро:
как было много надежд, и пространства, и ветра!

Может, в Твоих мастерских белошвейных небесных
много есть белых хитонов, нарядов воскресных,
много целебных покровов, спасительных нитей
есть для нее среди высоких Твоих общежитий!

...В серой казенной рубашке – ладонь у ладони,
в скорбном халатике, в туфлях на грубом картоне...
Будь наши очи духовные чуть приоткрыты,
мы бы увидели: нет, среди сиятельной свиты,
в брачной одежде, в чудесной накидке лазурной, –

вот как проходит она в кабинет процедурный!

Мальчик Петя

...Вот и август кончается, дождик затягивается,
в двери стучится, из ладоней выливая воду,
Петя болящий. Ему одиннадцать лет. Он взрослый уже человек:
– Мама, как я устал! Я хочу превратиться в природу:
в облако, в дерево, в снег!

Петина мама – совсем седая, отхлебнув торопливо кофе,
со словами: «Петя, еще не пора»,– продолжает рассказ:
– Конечно, если глянуть вот так, то жизнь равна катастрофе,
но она целомудренней наших взоров и милосерднее нас!

Петя выходит в сад. Прислоняясь к оконной раме,
Петина мама невидящим взглядом смотрит ему вслед.
И такая горячая нежность к Пете и его маме
заливает небо и землю, и меня вместе с ними, и мне уже тридцать лет!

О, не подсказывай мне развязку к этой давно затянувшейся драме,
и, куда время не ткнуло в свои страницы перстом,
зачем ты, возраст-могильщик, размахиваешь пустыми руками,
ветвями осенними жестикулируешь, витийствуешь смородиновым кустом!

Мы и так мучительнейше живем и околицами пробираемся к свету,
не говори, какие холодные нас ожидают края, только выйдет час,
и какие суровые зимы еще нас притянут к ответу...
И, быть может, лишь мальчик Петя заступится там за нас!

На правах погорельца

«Мое,– говорит человек,– время!» И умирает...
И кто-то рассыпавшуюся мелочь старательно подбирает
и пыль стирает.
Время заштукатуривает следы, выводит пятна.
Нищим пришел сюда – нищим и уходит обратно,
пока свеча догорает.

Как много было хлопот – сутолока, размен квартиры,
в доме пустые стены, в диване дыры,
денег, как всегда, нету.
Как много было тревог – то сперли плавки,
то судом грозит сосед – полковник в отставке –
за кинутую на его порог сигарету.

Как много было волнений – об институте, зачете,
работе, поездке туда-то, оттуда-то перелете;
в коридоре лампа погасла.
Шепот и крик: «Это ты во всем виновата!»
Прохудились ботинки, шапка делась куда-то,
в трамвае – завернутое в газету – забыли масло.

...Вещь ли накидывает узду на своего владельца?
Он ли пред жизнью сам – на правах погорельца:
с мира ему по нитке, с руки – по крошке.
И он уж одет и сыт: благодарствуйте, мол, поверьте,
всего-то понанесли – хватит теперь до смерти,
даже вазочку кто-то дал, даже цветы на окошке!

Даже свет провели – в сумерках мне не мрачно,
и ровно горит огонь, и вода прозрачна –

столько жертвуют на меня и тратят.
Ели распахнутые стоят, карауля мою дорогу.
И такого богатства, пока не приду я к Богу,
аж до смерти – с лихвою хватит.

Сценарий

Я люблю эту пристанционную жизнь, предутренние эти морозы
в захолустье заштатном, в российской глуши вековой,
где, как птицы ночные, насадно кричат паровозы
и в фуражке замерзшей обходчик идет путевой.

Я сценарий хочу написать о писателе. Вот сюда-то
я его и отправлю, покину в глубоком снегу,
чтобы он растерялся, оглядываясь виновато
между сосен гудящих, у озера на берегу.

Пусть наймется к лесничему, ходит по лесу дозором;
пусть псаломщиком станет, в расшитом поет стихаре;
снимет угол у бабки – с крутым кипятком, с разговором,–
пусть ей воду таскает и колет дрова на дворе.

И пока я жду поезда на перегоне холодном,
все ищу, как бы высказать, выразить словом простым
то, что все-таки можно в России писателю жить, можно жить и остаться свободным
под покровом небесным, под куполом под золотым!

Потемки, ночь: душа чужая.
Мерцанье. Морок. Бездорожье.
Она идет, опережая
Благую весть и Царство Божье.

Заденет, тронет – ан все мимо
скользнула, ранив больно, страшно.
И вновь с ладоней серафима
рассеянно вкушает брашно.

А то – на свет, на звук и шорох
летит, мечтая взять с полочным,
мешая свой подмокший порох
с рассохшимся зерном горчичным.

А то – сама в своем тумане,
как бы за плотной драпировкой,
играя спичками в кармане,
проходит с голубой спиртовкой...

И мне – судить ее сложнее,
чем тьму выдергивать по нитке,
чем ветер завязать на шее,
чем кольца разогнуть улитке.

...И яблони – до пояса в известке,
и облако, меняющее цвет,
и жабы бурые на вспаханной полоске,
и влажных звезд высокопарный бред...

Два празднословящих монаха,
чай зеленый
с вареньем прошлогодним и – смешок
почти без повода...

Соседа удивленный
взгляд через изгородь... Что ж, и его – в мешок!

В подполье темное, в хранилище: всех – в кучу!
На черный день! На злую ночь!

Каргой
душа надменная свой материал летучий
завязывает в узелок тугой.

Чтоб в день такой-то – тошный и напрасный,
забившись в угол, рукавом махнуть, –
и птицы вылетят, и встанет сад прекрасный,
где жабы – в роскоши и раздувают грудь!

И вишни – в прелести, и яблони – в фаворе,
и небо – в золоте, и пальцы – не разнять,
и можно с легкостью, забывшись в разговоре,
двух собеседников за ангелов принять.

Пригласите Сережу

Если праздник случится у вас или так – без события
вдруг друзья соберутся, и, кто бы еще ни пришел,
позовите Сережу, пожалуйста, на чаепитье,
и придет он, счастливый, и сядет, робея, за стол.

Будет он благодарно смеяться на ваши остроты
и торжественно вашим историям будет внимать,
и сиять от любви, доходя до такой позолоты,
что слова разговора не сможет уже понимать.

Только вы не считайте, что чувства Сережины глухи,
если, глядя блаженно, он к спинке дивана приник,
потому что Сережа – детдомовец из ремеслухи,
общежитий приемыш, суровых казарм ученик.

– Ну и что, – вы спросите, – зачем нам его приглашать-то? –
Все равно, я прошу вас, хоть раз пригласите его,
если, правда, вы верите в то, что мы сестры и братья
и с любым сиротою мы дети Отца одного!

Не подумайте только, что речи Сережины лживы,
если он невпопад вам ответит, коверкая рот...

...А когда-то и вас – в час, когда никому не нужны вы,–
Кто-то в светлые комнаты из темноты поведет!

Соседка

До шестьдесят первого года мы жили
в коммунальной квартире, и с нами
проживала Мария Сергеевна –
старуха простецкая и костистая, со стальными зубами.

И когда мне читали сказку про бабу-ягу
или про ведьму, которая у влюбленной русалочки отбирала прекрасный голос
и превращала ее сверкающий рыбий хвост в человечьи ноги,
чтобы она посуху могла догнать своего земного возлюбленного,–
передо мною в сонном тумане появлялась Мария Сергеевна
то с облезлым чайником, то с фиолетовой поварешкой.

Поэтому я боялась встречаться с ней в коридоре.
А она, как нарочно, завидя меня одну, без взрослых,
приходила ко мне и полусшепотом говорила,
что давно собирается в какое-то чудное царство,
где нет ни темных углов, ни крыс, ни крика на кухне,
а только солнце да трава-мурава с цветами,
по которой гуляют олени –
такие же, как у меня на коврике над кроватью.
И детям разрешается поиграть с ними.
И еще она говорила, что она – Мария Сергеевна –
уже почти готова к отъезду
и что сам молодой царь встретит ее у входа...

Каждое воскресенье она уходила утром куда-то
и возвращалась только к обеду.
На ней был платочек в красный горошек,
а в руке – бидон, который она держала особенно осторожно.
А однажды она принесла еще молодую вербу
и подарила мне такой причудливый хлебец,
который я и попробовать не посмела
и спрятала под подушку, но уже наутро
его там почему-то не оказалось.

А потом – она несколько дней
не выходила из комнаты,
и набежало много народа, и дверь взломали,
а меня туда не пустили, и все говорили:
– Пойди погуляй! Такая погода!..
Но я все-таки, проходя мимо, успела заметить
висевшую на стене голубую картину,
с которой глядел молодой,
очень внимательный и очень красивый Царь.

И я тогда поняла, что Мария Сергеевна
уже отправилась в путь-дорогу, и, засыпая,
я все глядела на коврик с оленями, с лугами-лесами

и думала – как там теперь Мария Сергеевна, добралась ли?
И, качнувшись и отплывая по реке сновидений,
все-таки удивлялась, что Мария Сергеевна –
такая грубая, некрасивая и простая –
совсем не то, что моя изящная, нежнейшая бабушка,
ничего не слышавшая ни о заветном Царстве, ни о прекрасном Царе,
который откуда-то знает и зачем-то ждет у себя Марию Сергеевну –
особенно смущали меня ее железные зубы.

А совсем недавно – несколько лет назад –
Мария Сергеевна мне приснилась:
она что-то мне говорила и говорила,
а потом помахала веткой и улыбнулась
белозубой, прямо-таки сияющею улыбкой.

Несколько раз потом меня посещало странное ощущение,
что она просила меня то ли ничего не разменивать,
то ли ни с кем ни на что не меняться
и особенно – как смутно мне вспоминалось –
на возможность догнать моего возлюбленного,
который был так не близко...

Три сестры

Три сестры нас было у матери,
три сестры, три пути-дороженьки:
одна – дорога семейная, многотрудная,
другая – дорога узкая, монастырская,
третья – дорога кабацкая, лиходейная.

Три сестры нас было у матери,
три сестры, три огня, три свечечки:
одна свеча – дом озаряющая,
другая свеча – ладаном оплывающая,
третья свеча – волоса опаляющая...

Три сестры нас было у матери,
три сестры, три ростка, три деревца:
одно – дерево могучее, вширь растущее,
другое – дерево крестное, на ветру поющее,
третье – дерево черное да бесплодное, ни ростка не имущее...

Как сойдемся мы, три сестры, хоронить матушку,
как во гроб тесовый ее, родимую, начнем укладывать,
каждая по своей дороге подойдет с рыданием,
каждая со своей свечой подойдет с молитвою.

И одна положит на могилку румяное яблочко,
а другая – освященный мед небалованный,
ну а третья – уронит слезу повинную,
землю насквозь прожигающую, слов не вмещающую...

Семейные страсти

Лариса всю жизнь говорила мужу:

– Вот уйду от тебя к Петрову – он меня любит до смерти! –

Муж сначала боялся и от ревности стискивал пальцы,

а потом успокоился, щуриться стал и стоял

отвернувшись,

с таким равнодушным затылком!..

А однажды, когда пригрозила Лариса ему, намекнув на Петрова, неожиданно он рассмеялся и зло на нее посмотрел:

– Да кому ты нужна,

бестолковая старая дура!

И Лариса вдруг вздрогнула.

– А! – закричала,

к лицу две ладони прижала и крикнула

в страшном волнении:

– Он меня и такую возьмет!

Он любую меня не разлюбит!

И у зеркала долго искала ответа она,

и глаза до висков рисовала, и челку взбивала,

и старалась придать выражение свободы лицу,

и смотрела, как смотрят лишь «звезды» картин Голливуда...

И, уткнувшись в стекло окаянное, прямо лоб в лоб,

вдруг заплакала-запричитала над долей своею,

что ведь жить невозможно, когда нет кого-нибудь, кто б

продолжал бы любить ее, что бы там ни было с нею!

И уже среди ночи – у мужниной теплой щеки –

шепчет, вдруг возмущившись:

– Как это нечестно и гадко!

– Что с тобою, Лариса?

– Любить – так любить без остатка!

Вечно, – плачет она, –

бесконечно!

И миру всему вопреки!

Девичник

Катя гордится тем, что у нее муж престижный, у которого есть возможность;

Лена гордится тем, что она в одиночку растит ребенка, не требуя ничего от мира;

Света гордится тем, что у нее профессия и высокооплачиваемая должность;

Таня гордится тем, что у нее собственная, обставленная со вкусом квартира.

К другой женщине ушел престижный муж Кати.

Годы идут, а некому оценить

мужественную душу Лены,

окрепшую среди испытаний.

Света, не сойдясь характером, ушла с работы – ходит весь день в халате.

И как-то уныло и одиноко в доме у Тани.

Каждый год они устраивают девичник Восьмого марта.
Катя привозит торт и пирожные, Лена – сыр с сервелатом,
Света – хорошие сигареты и кагор для азарта,
а Таня ставит современную музыку, украшая стол жареной курицей и салатом.

– А вот, говорят, в Древней Греции,– начинает кто-то,–
был такой остров, где одни лишь женщины-амазонки жили,
так они мужиков к себе и на пушечный выстрел не подпускали,
а тех, кого случайно приносила им буря, убивали на месте!

Эта история вызвала оживление, подняла настроение:
поговорили о греческой мудрости, послушали концерт мастеров эстрады
и даже сами потанцевали и обсудили следующее поколение,
и о пирожки и бутерброды вытерли праздничные помады.

– До свиданья, Катя,–
выглядишь чудно при домашнем свете неярком!
– До свиданья, Лена,–
тебе еще на троллейбусе, а там – через пустырь испуганными шажками!
– До свиданья, Света,–
тебе направо, потом налево и – черным замерзшим парком!
– До свиданья, Таня,–
тебе еще мыть тарелки с недоеденными пирожками!..

Простая история

Тетя Алла была из деревни родом.
Дядя Саша работал в радиокомитете.
Он водил знакомство
с популярными артистами и певцами.
У тети Аллы и дяди Саши были взрослые дети.
Дядя Саша их звал орлами,
тетя Алла называла птенцами.

Тетя Алла по праву считала,
что в жизни ей повезло: семья, столица,
культурные горизонты, открытые двери,
да и сама тетя Алла –
особенно в этом костюмчике –
ну просто важная птица...
Бедная тетя Алла, где твои пух и перья?

– Где твой муж дядя Саша?
– У него жена молодая.
– Ну а дети?
– Они давно разлетелись, летят высоко.
– А сама-то куда теперь,
ведь и старая, и хмельная?
– А тебе какая печаль? А тебе какая морока?

Ухмыляется, смотрит прочь, вся седая:
– Пошла... устала.

И уходит, и злая ночь,
точно ворон, черней, черней...
Говорят, на деревне
была первой ласточкой тетя Алла,
да не ведала, как и мы,
что там дальше случится с ней.

...Вот теперь-то припомнишь все
на грошовой Аллиной тризне:
как любила она гостей,
все звала их «наши друзья»,
всем желала цветов, удач
и «попутного ветра в жизни»,
выпивая за звездный час
и эстрадного соловья.

Вот и кончился твой полет, от которого ты устала,
и готова уже земля успокоить тревожный сон.
Но и мы не выше летим...
– Ты прости, если можешь, Алла! –
так сказал дядя Саша вдруг,
и заплакал,
и вышел вон.

Просто...

Что-то мертвые стали ко мне захаживать... Придут – и сон рвется.
Только монах Михаил нальет вино, посмотрит его на свет,
только папа сядет в углу, закурит и улыбнется,
только Галька произнесет:
«Поначалу так страшно было, а сейчас – нет», –
как все исчезнет... Пепел погаснет. Вино прольется....

Ни о чем их не успеваю спросить: где они, на небесной тверди
или же в бездне? Как их искать, если что? Ждать у какого моста?
Знают ли они о судьбе живых, особенно о часе их смерти?
А главное – видели они или еще нет – Христа?
И – ничего. Лишь душное одеяло в конверте.

День говорит: «во-первых...» и «во-вторых...», а также
«в-третьих...», «в четвертых...», –
мертвые никогда не приходят к своим живым,
живые вовек при себе не удержат мертвых,
сновидение ходит косо, смотрит глазом кривым,
бездна заплетена в его буквах стертых.

Просто – настала осень. Заморозки на почве, сутулятся сами плечи,
бродят Забвенье и Страх меж цветов полевых,
и посылается дар слез вместо дара речи...
Просто – мертвые продолжают любить живых,
а те – сгорают, как восковые свечи.

Апология человека

Стихи в прозе

Человек умирает, и на третий день его облик изменяет ему, на девятый – начинает тлеть его тело, на сороковой – сердце.

Так оканчивается человек.

На третий же день он делается ДРУГИМ. В дом без хозяина набиваются воры, разбойники, бродяги, бомжи.

Иногда хочется крикнуть: «Да ведь это совсем НЕ ОН!»

И тогда отвечают: «Успокойтесь, гражданочка, это все нервы, нервы!»

Потому что – если не он, то КТО?

Говорят, что покойник безобразен и страшен и лучше на него не смотреть. Заглядывают ли без трепета и без жути в дом, у которого окна черны, проводка оборвана, провалился пол?

Безобразен тем, что безобразен, и страшен тем, что он пуст.

Нету в нем его самого – и он стал другой. Покинуло человека его «свое» – и он стал чужой.

Но и пустые мысли полны лукавства, вздора и непотребства, а гнездо разоренное полно хищения, отчаянья, страха. Так и его пустота обоюдоостра, полна чем-то инородным прежнему – неподъемной тяжестью безличного: «стемнело» и «моросит».

Отошел от человека дух Божий – и пришел СТРАХ.

Живые сидят и поминают покойного с горячей чаркой в руках. На кладбище – вечно дождь косой, мелкая сетка, ветер пронизывает насквозь.

– Он любил сырные корки. Бывало, принесу сыр. А он корки-то не дает обрезать и выбросить, говорит: дай мне, я съем.

– А мне, помнится, блестящую такую острогу сказал: у нас, говорит, любой человек имеет право... предъявить документ.

Живые жмутся друг к другу, размягченные человеческим теплом, мертвые – уже стали другими, а тех – не найти...

Но живет человек, и он – это именно ОН. Всякое удивительное и чудесное происходит с ним – даже и без его ведома, без его трудов.

Что-то такое горит в нем, светится, и он мягок и податлив, как теплый воск. И дыхание его, как горячее облако на ветру. Глаза его устроены весьма хитроумно и освещаются изнутри. Черный зрачок расширяется навстречу тьме. И всё, что совершается с человеком, написано у него в глазах.

Весь он в упругой узорчатой коже, очерчивающей предел: вот здесь человек заканчивается и начинается мир. Болезненны на ней ссадины и царапины и уродливы шрамы, рубцы. Даже слабые ветки могут оставить их.

Словно миллионы рабов трудятся день и ночь на него. Словно какой невидимый муравейник копошится в нем: что-то вечно туда-сюда снует, торопится; на бледной его жаровне перегорает-варится; то на черный день тонким слоем под кожей откладывается, уплотняется; то, как нитки с катушки, разматывается, истончается, на ветер пускается. И весь человек переливается, как водопад – кто может его постичь?

Вечно что-то в человеке бьется внутри, колотится, гудит, постукивает, поткивает. Песок и гравий под ногою его похрустывает. Вышина небесная над ним посвистывает. Лучи пронизывают его с головы до ног. Помощь ему приходит с самых небес.

Разве мог бы он сам по себе хотя бы камень поднять, хотя бы руки свои согреть на лютном ветру, расколоть хотя бы малый орех?..

И живоносное семя его под спудом накапливается, сгущается, тяжелеет, одолевает жаждой, умоляет:

– Излей меня! Дай мне там, в благодатной почве, в глубине покоя забыться и прорасти!
Так продолжается человек.

Пока живет человек, непрестанно с ним происходит нечто, творится, выпадает на долю, случается и стрясается. Дорога его на буграх подпрыгивает, раздваивается, расцветается, восьмеричной дробью шарахается на знак бесконечности, мелкой восьмушкой по нотному стану мечется – скрипичный ключ вконец заржавел, и ворота не отпираются.

...Несколько раз останавливался, озирался в испуге, пятился – почему-то оказывался впереди.

Торопился, летел сломя голову – и потому сильно отстал.

Решил срезать угол, пройти напрямик – и заплутал.

Заблудился, запутался, потерялся, а оказалось, – уже пришел.

В детстве мечтал сделаться дворником, с его утреннею метлою-лопатою по тротуару: «шарк-шарк». Дом, в котором родился и вырос, крепкий добротный дом, долго разбивали большой кувалдой, далеко было слышно протяжное и торжественное: «бум! бум!». Женщина, которую безответно любил, расплзлась вширь, тяжело ступает, и капельки пота у нее на лбу. Купил, наконец, японский сервиз за три тыщи в угоду жене – и по дороге разбил. Поехал на юг – и сел на ежа.

Несуразная все-таки у человека жизнь, но и нелепицы драгоценны ему.

Шел, понурый, по пыльной дороге, увидел: вишня цветет! И улыбнулся ей.

Выбежал вон из дома – прямо в ливень, в грозу – досада выглядывала из глаз. Запахи облепили лицо: пьяная жимолость, жадный жасмин, нежность до слез. Небеса отверстые захватили дух. И – подивился сему.

Был разбужен раннею птицей и долго еще лежал, щуря глаза. И был благодарен ей.

Одна женщина любила одного человека, а он ее не любил. И это продолжалось много и много лет. А она неотступно молила Бога, чтобы Он отдал его ей. Но человек этот ее по-прежнему не любил.

И, отчаявшись, она возопила к Богу, чтобы Он ее отпустил: разорвал эти сети и дал ей спокойно жить.

И Господь услышал ее молитву и отпустил ее.

И она почувствовала себя свободной и увидела, что день – почти догорел. И еще она увидела, как жалок тот человек. Как он мелок и потрепан и некрасив. И еще она увидела, что он – ДРУГОЙ.

Оделся в его былые одежды и голосом его говорит.

Человек делается другим, когда от него отходит любовь. И весь он – как обгоревшее дерево с черным лицом. Тревога стоит у него в головах, и опасность бродит вокруг.

И если бы не было вечной жизни, можно было бы сказать так: человек умирает, когда его разлюбил Бог.

Один старый монах говорил: человек умирает на одном из двух полюсов – либо когда он не мог бы сделаться лучше, чем он уже есть; либо когда он не смог бы уже исправиться и продолжал бы катиться вниз...

Жила одна прекрасная девушка в захолустье, в обшарпанном запуганном городке. И она повторяла: есть ли вообще в этой жизни какой-то смысл, если вот, например, где-то в дремучем лесу вырос прекрасный цветок, который никто никогда не увидит, то он – зачем?

И сама же себе отвечала, что – да, и смысл есть, если, конечно, его красоту видит хотя бы Бог.

А потом она вышла замуж за столичного человека в зеленых, ядовитого цвета, носках, с выраженьем отрыжки сытости на лице...

Жалок человек и потерян, когда изменяет себе. Словно кто-то другой начинает выглядывать из него. Новыми повадками его обкладывает, новыми ужимками начинять. На лице у него выписывать: «Ну а что такого-то? Ничего!» или «Вам-то какое дело? Ну да, это я! Я!»

Бедный все-таки, беспомощный человек! Как же он весь сжимается, напрягается, когда ругают его или даже когда кто-нибудь не согласен с ним! Как он весь кипит, морщится, чтобы доказать свою правоту. Как он ночью потом в постели ворочается, выискивая неотразимый, непререкаемый аргумент. А потом – впопыхах, сбивчиво выкрикивает его в затылок противнику и мучается, что сказал – не так...

Жалок человек и наивен и отзывчив на похвалу. Скажите ему что-нибудь приятное о его делах или о нем самом, и он тут же сделает к вам крохотный, чуть заметный шагок.

И глаза у него непременно увлажнятся, расширятся, и что-то дрогнет в лице. И, словно ветер, теплое, сладостное волнение его всколыхнет. И он наморщит от напряженья лоб, чтобы это скрыть, и почешет нос, и ковырнет землю носком.

И ему тоже захочется сказать вам что-нибудь этакое в ответ, поддержать, что и вы – неплохи. И он с участием потрясет вам руку, похлопает по плечу, заглянет в глаза.

А потом, мысленно провожая вас взглядом, подумает: симпатичный все-таки человек! И совсем не глуп.

Даже большое добро, сделанное человеку, забывается им скорее, чем крошечная похвала. Свойственно человеку желание быть отмеченным, получить плюс – гирьку на весах бытия.

Неустойчив все-таки человек – то и дело дает крен: из стороны в сторону пошатывается, покачивается, словно маятник, подвешенный к небесам.

То он мучается:

– Я бездарен, и мне тошно жить!

То – выкрикивает:

– Я прекрасен, но это не нужно здесь никому, этого не замечает никто!

И только заботы жизни, вязкая ее суэта заземляют, уравновешивают его.

Жалок человек и наивен, когда говорит:

– Оставьте меня в покое, дайте же мне покой!

Потому что – если в нем самом нет покоя, кто может его ему дать?

И если оставить такого в пустой и оглохшей комнате – наедине с собой, он сам начинает через весьма малое время рваться наружу, искать событий, людей.

Ибо – страсти его, пребывая праздными, выползают наружу, присматриваются, к чему бы здесь прицепиться, на кого бы напасть. Начинают шикать, шипеть, поднимая головы, перебраниваются на разные голоса.

И мысли его раздваиваются, спорят между собой. Будто в пьесе какой, где спорят бранчливые А и Б.

И чувства, не находя волнореза, разбалтываются, выходят из берегов. Начинается наводнение, ураган.

Гибнет княжна Тараканова в мутной темной воде.

Удивительно, как человек изворотлив, как он живуч! Чем только ни способен гордиться, хвастаться человек! Что только в себе ни отыщет, чтобы сделать точкой опоры, рычагом, мир поворачивающим к себе.

– У меня – самые малосольные огурцы!

– У меня – самая больная в больнице печень!

– У меня – самые черные мысли, каких не было никогда и ни у кого!

– А у меня – самые-самые непростительные грехи!

Удивительно, как беспомощен человек, как хрупок, словно обложенный скорлупой. Стоит ему лишь услышать тихое: «А я тебя не люблю», – как в нем что-то хрустнет, зазвенит, треснет, оборвется, и тьмою зальет глаза...

И тогда он резко так вскочит, и лицо спрячет, и обхватит руками голову, и пойдет не разбирая дороги, и побежит, побежит...

– Заведу собаку, – говорит человек. – Пусть она будет меня любить, видеть во мне своего хозяина, уважать. Будет меня безропотно слушаться, преданно глядеть в глаза, драться за меня и кусаться, а если надо, то и умрет за меня!

И прибавляет горестно: она ведь мне не изменит, не солжет, не предаст. И не скажет на меня никакой клеветы. И не будет меня ругать. И не будет требовать от меня ничего, но только радоваться при встрече со мной и тосковать, глядя на дверь, пока не приду.

У одной женщины была мания, что все вокруг в нее влюблены. И она захлебывалась от избытка собственного бытия. А потом она стала старой, и потухло ее лицо. А те, кто знал ее красивой и молодой и ее любил, начали умирать, умирать...

И однажды она грустно сказала:

– Вот и я уже умерла. Но где-то там, наверху, забыли вовремя выключить мою лампочку, и она продолжает тускло гореть...

Но гаснет тусклая лампочка, и следы человека обрываются у реки, зарастают мелким кустарником, затаптываются другими людьми.

Трудно что-нибудь с достоверностью о нем сказать, разглядеть рисунок его судьбы. Доказать, что был такой человек. И если спросят о нем: допустим, он действительно был, но если он был, то он – КТО?

В крайнем случае, можно ответить о роде его занятий: полководец, мытарь, поэт; или о степени его родства с теми, кто еще жив: муж тети Вари, бабушка Олега Петровича, ребенок Танечки с третьего этажа...

Говорят, человек штучен и неповторим. Никогда на свете не было такого же человека и не будет впредь. Только тот, кто любит его, понимает, что это – так.

И если не было бы Того, Кто способен это вместить, каждого человека знать по имени и в лицо, – суетна была бы вся эта бурлящая пестрота, сдерживаемая общими именами Петров и Павлов, Лазарей, Марий, Марф.

Бывает, человек перерастает себя самого. словно бы он поднимается вдруг на цыпочки и смотрит на себя – прежнего – сверху вниз.

Все ему кажется исполнимым, податливым, как мягкая глина в ловких зрячих руках. И глаза его победоносно поблескивают от избытка желаний, от хмеля ума. И он чуть ли не пританцовывает, нет-нет да и щелкнет пальцами, языком, мотивчик даже какой-то носится у его губ. И сладкое самозабвение окутывает его, как облако, плывущее над землей. И, очнувшись, он спрашивает с изумлением: неужели я сие сотворил?

Но проходит весьма малое время, и он опять становится мал. Ветер поднимается ему поперек. Растрескиваются его амфоры, выливая вино. Крошатся его глиняные поделки – тяжелый, бурый песок.

Да и сам он чувствует страшную опустошенность, упадок сил. Сумерки сгущаются на его лице, и даже тень делается темнее возле него. И человек спрашивает себя: как? почему? Куда это делось, если я никому этого не отдал? И откуда взялось, если я сам ниоткуда это не брал?

Потому что – пока дух Божий пребывает на человеке, не равен человек себе самому.

Как же человек неустрашимо дерзок и при этом – как он труслив! Боится, как бы о нем чего не подумали, как бы не сказали о нем чего. Боится, что все у него перед носом кончится и захлопнется раздаточное окно. Боится бедности, унижения, уколов, бормашин, клизм!..

И при этом захлебывается пеной ропота, выкатывает грудь колесом, борется, словно какой Иаков в ночи, собственному Создателю кричит: «Уж!о!». И быстрыми такими решительными шагами идет во тьму.

Там обступают его льстивые демоны, дружественно похлопывают по плечу.

– Ты его ого-го, – говорят, – ты и сам с усам! Или мышцы твои подвешены к небесам? Или мысли твои за веревки привязаны, словно стая собак? Или слова твои с языка срывает суфлер? Или ты, в зеркало глядя, рядом с собой видел кого еще?

Задушевный такой, приятельский выстраивается разговор, и они уже панибратски так, запросто, на короткой ноге, пощипывают его, подталкивают, замыкают кольцо. Вот-вот с затылка шапку ему сдвинут на лоб, поддадут тихонько пинка. Шуточки-прибауточки. Воровская малина: коромыслом дым. Чье-то копыто опускается ему на ногу, лукавая рожа очерчивается ему в лицо.

– Ничего страшного, – вежливо так говорит человек. И интеллигентно покачивает головой.

Удивительно все-таки человек изобретателен и хитер. Ведь, пожалуй, в девяти случаях из десяти, когда он не прав, он такую поразительную, вдохновенную нарисует картину собственной правоты.

Например, разве он не ужасен в гневе? не уродлив в злобе? разве в зависти на змею очковую – не похож? Даже черты его переломаны и черны: бездна выглядывает из глаз. Потрясает человек кулаками, кричит: убью! ненавижу! – кричит и ходит весь ходуном. А и тут – найдет себе оправдания, приведет за руку свои: «потому» – тонким таким становится он психологом, захватывающий выписывает сюжет: благородное негодование, понимаете ли, праведный, господь, гнев! Жажда справедливости! честности! чистоты!

Оправдает себя вчистую, а виновных велит посадить на цепь.

Странное носит в себе человек чувство своей неловкости, стыда, вины. Словно готов у целого мира просить прощения, что он – не такой: то своего роста стесняется, то полноты с худобой. Волосы зачесывает с затылка на лысину, невзрачное лицо отворачивает, простоту свою пытается маскировать, словно какое вещественное доказательство, улику против себя.

Бедность свою за спиною прячет, прикрывает, как дверь. В благополучии – прибеждается, в праздности – кивает на головную боль. Проигрывая, – хорохорится, палкой в землю стучит. Побеждая, – так сдержанно начинает покашливать, озабоченное делать лицо.

Томится в тихом унынии, разоблачений боится, преображенья не чаёт, чудес не ждёт.

Близорукий все-таки человек: не замечает того блаженства, которое носит в себе – все мается своим желанием лучше жить.

Все-то ему мерещится – измени он что-нибудь здесь, на земле, переставь, поменяй местами это и то, – сразу такое приветливое, гуманное у мира станет лицо. Получи он другого правителя, заведи порядок иной, – и зло пойдет наопытную, скроется в куче песка. Солнце будет светить приятнее, прохладительнее станут дожди. И человек сделается блаженнее и все проблемы свои решит.

Негодующе поглядывает он на противников, которые стоят поперек, – не проехать из-за них, не пройти. И сам себе говорит: это все они виноваты, это все из-за них!

Перья дрожат на его серебряном шлеме, меч позвякивает на бедре: заманчиво человеку по-своему повернуть мир.

А меж тем – вот уже который день он не может справиться с насморком, носит в руке платок.

– Суета, – говорит человек, – как же она изматывает меня! Если бы не было суеты, о, каким бы я был! Мысли свои додумывал бы до конца! Вглядывался бы вдумчиво в происходящее и – прозревал! Накапливал бы золотые энергии, как пчела – мед. Возрастал бы, как кедр Ливанский, – до самых небес.

А заглянет к себе во внутрь – там неприбранно, там темно. Духота. Маленькие паучки висят по углам. Некуда приткнуться и – шаром покати.

И опять человек выскакивает оттуда на бледный свет. Гонится за чем-нибудь пестреньким, мелькающим впереди, отсвечивающим, рябящим, отвлекающим ум.

Человек показывает на это пальцем и вздыхает: вот – жизнь.

Посмотрите на человека, когда он моет, чистит, украшает себя, тщательно скребет кожу, зажмуривает глаза, надувает щеки, намыливая лицо. А потом – такой ровенький, тонкий проводит пробор и какой-нибудь даже галстук повязывает или шейный платок.

А потом – новенький и нарядный – в зеркало на себя глядит, и такая как бы даже критическая складка у него меж бровей. А на самом деле ему неловко и себе показать, что он доволен собой. И он, поворачиваясь, немой задает вопрос: ну как?

И тот, кто справа от него стоит, поглядывает на него с нежностью, с умилением, думая примерно так:

– Прекрасен все-таки человек, когда он полон надежд, когда готов к чудесам!

А тот, кто слева располагается от него, посматривает на него зло и насмешливо, норовит посадить пятно.

– Ишь, вырядился,– говорит.– Но и это не поможет ему.

Любит он человеческую досаду, огорченный возглас:

– Ну вот вечно так!

Хрупок человек, когда он полон надежд, и жалок, когда он машет на себя рукой. Когда он в черном теле своем сидит, когда сухими и настороженными глазами глядит.

Знает он тщетность своих надежд, знает безумие своей мечты. Потому что мечта его упирается в небеса – мир не может ее вместить. Человек же зачем-то устроен так, что ничто земное не может его утолить вполне. Неудачником выглядит человек.

Он сидит, покачиваясь на стуле, смотрит тяжелым взглядом перед собой. Ничего-то его не радует, ничего он не ждет, ничего ни у кого не просит, ничего не рассчитывает получить. И только старательно теребит больной зуб.

Ах, и у него был праздник, на который он охорашивался, улыбался безо всякой причины, начинал петь некстати и невпопад. И кто-то непременно его любил!

А теперь он сидит один, с этой серой усталостью в скулах, в плечах, словно никто на свете давно не любит его...

Один юноша очень боялся армии и хотел от нее улизнуть. И об этом сказал одному священнику:

– Понимаете, это такое место, где нет любви.

И священник ему улыбнулся и ответил так:

– Что ты, мой дорогой! Там же люди, люди... А там, где люди,– всегда любовь.

Посмотрите на человека, когда он празднует свой день рождения, и все поздравляют его. Говорят ему: поздравляем, что ты родился, что ты прожил столько-то лет. И мы пришли, чтобы радоваться тебе, радоваться тому, что ты – есть.

И человек скромно отвечает «спасибо» и складывает подарки в углу. А потом – усаживает всех за стол и потчует. И все тут же едят и пьют.

Потому что – большой праздник, когда человек ЕСТЬ. Воистину – это стоит того, чтобы устроить пир.

Эй, музыканты, громче, торжественней, веселей! Созывайте всех к человеку, всех, кто любит его! Всех, кто ощущает дух Божий на нем. Всех, кто понимает, что он – это только он. Всех, кто не согласен увидеть его – другим!

Наслаждайтесь же человеком, радуйтесь же ему, глядите ему в глаза, обнимайте от избытка чувств.

Вот он – такой, как есть,– хлопочущий о закусках, сетующий, что мало вина; оттирающий капнувший ему на брюки бордовый соус, золотой майонез; произносящий что-то возвышенное – в честь друзей, что-то во славу жизни, во славу ее Творца...

И даже если он вовсе не хочет праздновать этот день и, фыркая, говорит: нечему тут радоваться! Тоже мне событие! Тоже мне фестиваль! – все равно радуйтесь и празднуйте, пойте ему хвалу, наигрывая на кимвалах и на тимпанах, велеречивых флейтах, нежных виолончелях, органах, скрипках!

Потому что человек, покуда он жив, не принадлежит себе одному.